



Пушкинские страницы Анны Ахматовой

Э. Г. БАБАЕВ,

доктор филологических наук

I. Пушкин и Жуковский

1.

В конце 50-х годов Анна Ахматова готовила к печати свою книгу «О Пушкине». По-видимому, она желала проверить, как звучат ее новые заметки «с голоса», и ей понадобился постоянный слушатель.

Не знаю, по каким причинам, но выбор ее остановился и на мне. Конечно, были и другие слушатели, но в шуточной надписи на книге переводов она отметила, что я был «всегда готов» слушать ее «бредовые речи о Пушкине». Мне эти речи никогда не казались «бредовыми»; напротив, они были из разряда тех, которые Осип Мандельштам называл «нетленными» («И горящие солью нетленных речей»).

Кроме завершенных заметок у Анны Андреевны Ахматовой были также некоторые замыслы, которые не были записаны, но существовали в устной форме как некие рассказы или размышления о Пушкине. Иные из них она повторяла, другие — нет.

Так однажды я услышал глубоко поразившие меня размышления о Пушкине и Жуковском, о Пушкине и Шенье. Восстановить эти речи так, как они прозвучали однажды, по-видимому, невозможно, однако сохранить их, кажется, необходимо.

2.

Анна Ахматова говорила, что знаменитая «школа Жуковского», имеющая столько учеников и последователей, не является единственной школой перевода в русской литературе. Кроме того есть еще «пушкинская школа» перевода, но у нее, как ни странно, почти нет последователей.

Жуковский был мастером поэтического, стихотворного перевода. Когда баллады Шиллера зазвучали по-русски так, как если бы это был оригинал, все уверовали в возможность «перевыразить», по замечанию Пушкина, все на свете по методу Жуковского.

Казалось бы, Пушкин, «победитель-ученик», как его называл сам Жуковский, должен был вступить на то же поприще и одержать на нем новые блистательные победы. И залогом таких побед были в творчестве Пушкина. Достаточно сравнить, например «Иванову ночь» Жуковского, балладу про «знаменитого Смальгольмского барона» (из Вальтера Скотта) с балладой Пушкина «Будрыс и его сыновья» (из Мицкевича).

Но Пушкин не стал поэтом-переводчиком в духе Жуковского. И не потому, что у него на это не хватило времени, а потому, что он уходил или уже ушел из «школы Жуковского» и не хотел повторять его уроков. Жуковский достиг многого, но каждый, кто идет следом за ним, по необходимости решает ту же задачу: как перевыразить то, что уже однажды было выражено в поэтической форме на другом языке...

Впрочем, не только Пушкин, но и сам Жуковский, король поэтического перевода, порою сомневался в возможностях стихотворного «преложения» стихов с чужого языка. В одной из своих статей он упоминает о некоем своем знакомце, который любит поэзию, но знает иностранных авторов «только по слуху или в некоторых переводах».

«Следовательно,— продолжает Жуковский,— почти не знает, ибо вы сами признаетесь, что большую часть переводов можно сравнить с ложными слухами, которые и самую истину нередко превращают для нас в небылицу» (Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 217). И выходит, что Пушкин не столько восставал против традиции Жуковского, сколько шел за ним следом, но при этом совершенно по-новому понимал цель пути и возможности ее достижения.

Недаром Пушкин однажды высказал сожаление о том, что Жуковский слишком много переводил. При этом он был «в бореньях с трудностью силач необычайный». Именно поэтому уникальное дарование Жуковского не может быть общим правилом. Со своей стороны, Анна Ахматова утверждала, что в области стихотворного перевода возможны исключения, даже настоящие чудеса, но в целом она не доверяла стихотворным переводам поэзии.

Л. К. Чуковская, как всегда, очень точно передает ее характерную мысль: «Драму можно переводить,— говорила Анна Ахматова,— прозу тоже, но в переводы лирических стихов я не верю» (Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952—1962//Нева. 1993. №4. С. 115). Можно сказать, что Ахматова не любила переводы лирических стихов из любви к поэзии.

Известный музыкант Федор Дружинин, ныне профессор Московской консерватории, в молодости игравший Анне Ахматовой

«Чакону» Баха, как-то в связи с разговорами о возможностях переводов «стихов — стихами» очень удачно и к месту сказал:

— Музыку музыкой не переведешь...

Подтверждение своим общим взглядам на природу поэтического перевода Анна Ахматова искала и находила у Пушкина. Пушкин, по ее мнению, написал манифест новой школы в области перевода, но при его жизни этот документ не был напечатан, а после смерти в течение многих лет, вплоть до наших дней, оставался как бы непрочитанным.

— Возьмите его статью «О Шатобриановом переводе „Потерянного рая“», — сказала Анна Андреевна. — Там все сказано...

3.

И я обратился к первоисточнику. Чтение статьи Пушкина «О Мильтоне и переводе „Потерянного рая“ Шатобрианом», написанной в 1836 году и предназначавшейся для журнала «Современник», было для меня продолжением разговора с Ахматовой. Многое из того, о чем она говорила, вдруг разъяснилось и развернулось цепью неопровержимых доказательств.

Жуковский, как известно, говорил, что «переводчик в прозе — раб; переводчик в стихах — соперник». Но если переводчик в стихах «соперничает» с автором, то он поневоле должен стремиться «улучшить» переводимые стихи, «украсить» оригинал своими, может быть, и замечательными «прибавлениями».

Например, во Франции, писал Пушкин, дипломатически не вступая в спор с самим Жуковским, аббат Делиль переводил Мильтона и «ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия». Так что «соперничество» иногда не то что «искажает», а как бы изменяет подлинник. И дело здесь не в одном только стихотворстве. Иные прозаические переводы стихов не заслуживают никакого другого названия, кроме как «рабских». Во Франции, отмечает Пушкин, существовали и «жалкие переводы в прозе», в которых Мильтон «был безвинно оклеветан». Но что это доказывает? Только то, что «жалкий перевод» не может равняться с подлинником, независимо от того, сделан он в прозе или в стихах.

Но зачем же не соперничающий, а смиренный перевод называть «рабским» только потому, что он сделан прозой, а не стихами? Не лучше ли назвать его «аналитическим», или «свободным»? Если он, конечно, достоин оригинала... Именно в этом Пушкин видел новое и принципиальное значение труда Шатобриана.

«Ныне,— пишет Пушкин,—(пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово* и

объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен! Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела...»

Слово «смирение» в словаре Пушкина 30-х годов указывало на то, что предмет его рассуждения дорог ему. Соперничающий перевод господствовал в русской поэзии времен Жуковского. Это была, можно сказать, цветущая ветвь романтической поэзии. «Смиранный» прозаический перевод провозглашен Пушкиным как форма «зрелой словесности».

Пушкин утверждал, что прозаический перевод «Потерянного рая», выполненный Шатобрианом, должен «сильно изумить поборников *исправительных переводов* и, вероятно, будет иметь большое влияние на словесность». Можно было ожидать, что такое влияние на русскую словесность окажет статья Пушкина «О Мильтоне и переводе „Потерянного рая“ Шатобрианом».

4.

Но одной статьи было все же недостаточно. И в том же 1836 году, непосредственно вслед за статьей о прозаическом переводе «Потерянного рая», Пушкин затеял перевод «Слова о полку Игореве». По-видимому, он хотел дать модель прозаического, аналитического перевода памятника древней русской литературы.

Сама по себе структура пушкинского аналитического, прозаического перевода была гениальна и нисколько не устарела до наших дней. Можно только гадать, почему Пушкин так и не окончил начатую работу... Анна Ахматова считала, что он ошибся в выборе памятника старины для нового перевода.

— Что ж тут переводить? — говорила Анна Андреевна. — Мы, слава Богу, знаем русский язык настолько, чтобы читать «Слово о полку Игореве» в подлиннике.

Но, по-видимому, как считала Анна Ахматова, у Пушкина с переводом «Слова о полку Игореве» (с обширным историко-филологическим комментарием) были связаны и некоторые житейские надежды. Нет сомнения, что в случае удачного завершения предпринятого труда Пушкин мог стать автором книги, которую перепечатавали бы каждый год в интересах просвещения, а это могло существенно поправить его дела. «Шатобриан на старости лет переводил Мильтона для куска хлеба», — пишет Пушкин.

— Пушкин знал о переводах всё, если он знал даже и то, что такое перевод «для куска хлеба», — говорила Анна Ахматова.

Пушкину в последние годы жизни приходилось усиленно заботиться о хлебе насущном. «Шатобриан, — читаем далее в его

статье,— приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью». Точно так же приходил в «книжную лавку» и Пушкин. Он рассуждал о Шатобриане, а говорил о себе.

«От переводчиков стали требовать более верности, а менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде — и с их природными недостатками», — пишет Пушкин в той же статье. Это и есть сущность «пушкинской школы» перевода, как полагала Анна Ахматова. Именно этому она и предполагала посвятить свою статью.

5.

Некоторые общие суждения Ахматовой о «стихотворных» и аналитических, то есть «прозаических» переводах были вызваны также ее наблюдениями над работой В. К. Шилейко, когда он готовил полный перевод древней поэмы о Гильгамеше. Его работу Анна Ахматова могла видеть изо дня в день. Здесь «прозаический» перевод был оправдан самой древностью текста без привычных европейцам рифм и правильных ритмов. «Далеким путем он ходил и вернулся, и записал на камне свой труд» — так начинается рассказ о странствиях древнего героя (Шилейко Тамара. Легенды, мифы и стихи // Новый мир. 1986. № 4. С. 206).

Таким же лапидарным языком выполнены переводы Анны Ахматовой из древнеегипетской поэзии. Помню, как она восхищалась изображением писца на фоне моря в какой-то древней египетской повести, где было сказано, что горизонт за его плечами поднимался и опускался косою линией. Вот как просто и величественно звучит ахматовская речь в «Прославлении писцов»: «Мудрые писцы Времен преемников самих богов, Предрекавшие будущее, Их имена сохраняются навеки. Они ушли, завершив свое время...»

Когда Л. Н. Гумилев, сын Ахматовой, находившийся в ссылке, готовил к печати свою книгу «Гунны», она разыскивала для него стихи древних поэтов. И нашла четверостишие китайского генерала, который провел в плену 19 лет. Возвращаясь на родину, он сложил такие строки: «Я прошел 10 тысяч ли Сквозь пески пустынь, Служа моему государю, Чтобы разбить гуннские орды». «Вот тебе мой прозаический перевод», — пишет Анна Ахматова, посылая ему стихи китайского генерала (Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 229).

Эта надпись сделана с каким-то смиренным торжеством и чувством отчуждения от всех условностей «украшенного» пере-

вода. «Вот тебе мой прозаический перевод!» Потому что музыку музыкой не переведешь... Это было еще одним доказательством безусловной правоты «пушкинской школы» перевода, которая видит цель своего труда в «преложении верности смысла и выражения».

6.

За двадцать лет добрых отношений с Анной Андреевной Ахматовой мне довелось много раз слышать, как она читает свои старые и новые стихи. Но я никогда не слышал, чтобы она читала свои старые или новые переводы.

В те же годы в разного рода изданиях было напечатано множество переводов, подписанных ее именем. Говорят, что она читала их профессиональным переводчикам, советовалась, стоит ли их вообще печатать, но ведь это совсем иное дело.

Говорят также, что у нее было множество помощников. Исполать тем, кто помогал ей в работе, за которую она бралась только «для куска хлеба». Ведь у нее не было никакого другого источника существования. Ни стихов, ни ее статей о Пушкине тогда не печатали...

Помнится, однажды она вернулась из какого-то издательства и сказала с тоской и отвращением:

— Я опять подписала договор на переводы... На нервной почве!

Ей приходилось дорожить работой, к которой она не чувствовала ни призвания, ни расположения.

— Получить большой заказ,— говорила Анна Андреевна,— так же трудно, или даже труднее, чем защитить докторскую диссертацию.

И она раздавала подстрочники своим добровольным помощникам, делилась с ними гонорарами. Некоторые из них тоже нуждались в заработках, но не могли получить заказов. Это все были драматические подробности ежедневной литературной жизни Анны Ахматовой.

Между тем издательства требовали не только «украшенных», но и «гладких» переводов, что усиливало предубеждение Анны Ахматовой к стихотворным переводам вообще. И она хотела подвести под свое предубеждение надежное теоретическое основание. Ее светлые мысли о «пушкинской школе» указывали на еще не оцененные нами источники обновления русской речи и неисчерпаемые возможности расцвета новых форм перевода в современной русской литературе.

Окончание следует



Из наблюдений за наблюдающим за наблюдателем

Г. З. ДЮСЕМБАЕВА

Реминисцентная связь «Мастера и Маргариты» с «Войной и миром» (вообще, влияние Л. Н. Толстого на творчество М. А. Булгакова) до сих пор или совсем не отмечалась исследователями, или отмечалась прочерком как отсутствующая. Так, Б. М. Гаспаров в одном из примечаний к своей статье «Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» говорит о важности неупоминания некоторых имен и произведений (или несущественности их упоминания) в романе.

«Проведенный мотивный анализ позволяет установить это с полной определенностью. В частности, если говорить о реминисценциях из русской литературы, бросается в глаза, что при той огромной роли, которую в романе играют отсылки к Пушкину, Гоголю, Достоевскому (а также, в меньшей степени, Крылову и Грибоедову), — в мотивной структуре практически не проявляются Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов: даже тема пожара Москвы оказывается не связанной с героями Толстого».

В другом месте Б. М. Гаспаров проводит параллель между

Воландом, наблюдающим с крыши пожар в Москве, и Наполеоном — историческим лицом. Но оснований для ближайшей литературной ассоциации — Наполеона «Войны и мира» — здесь нет, и она не возникает. Точно так же в ряду существенных для параллели Ершалаим — Москва, соотносимых друг с другом мест: дворец Ирода Великого — дом Грибоедова, Гефсиманский сад — клиника Стравинского, — не возникают (и в этом случае не могут возникнуть) злополучные Патриаршие пруды, где Берлиоз и Бездомный встретились с сатаной и откуда покатился по Москве клубок невероятных происшествий.

Но возможны другие ряды (имеющие общей точкой булгаковскую Москву), и в одном из них — Москве, посещенной Воландом, предшествует не Ершалаим, а оставляемая Москва «Войны и мира» накануне вступления в нее императора, накануне хаоса, пожаров и гибели. Читаем у Булгакова:

...И, кто-то уже шел, нет ехал, взяв «первого попавшего ему извозчика», на Патриаршие пруды, убегая от чувства спутанности и безнадежности, которому способен был поддаваться, от себя самого.

« — Но требуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал:

— Все просто (...).

Теперь у Толстого:

«Пьер поспешно оделся, и, вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находится».

Обстоятельность описания отчасти лишает исчезновение героя таинственности: Пьера не видал не вообще никто, но никто из домашних Безуховых, и следы его теряются лишь до конца московского разорения. Но внутренний механизм исчезновения — последнее душевное движение Пьера — остается неизвестным. Эта скрытая причина и само исчезновение по контрасту с предыдущим приемом экспликации душевной жизни Пьера (внутренние монологи, важный сон Пьера) производят эффект легкой фантастичности, детективной загадочности, усиленный тем, что Пьер, сменяемый другими героями, на несколько глав пропадает.

Итак, перед нами единственный «фантастический» эпизод в романе Толстого, и он связан с исчезновением.

Герои же «Мастера и Маргариты» исчезают часто и разно-

образно, например, из собственных своих квартир. Но вот жилец «нехорошей квартиры» сказал, что «вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер».

Описания двух исчезновений сближают не только лексико-синтаксические совпадения: употребление разных форм одного глагола — *ушел*, отрицательных местоимений с глаголом: «никто ... не видал» у Толстого, «никогда не вернулся» у Булгакова, — но и природа случившихся событий, отнюдь не мистическая.

Загадка исчезновения Пьера, исключительно психологическая, объяснима внутренним его состоянием.

Булгаковское же чудо исчезновения (одного за другим всех жильцов «нехорошей квартиры») принадлежит к разряду тех московских чудес, что совершались без всякой магии и гипноза, еще до появления воландовской шайки, и совершенно объясняется легендами о ювелирных несметных сокровищах.

Значительная часть перекличек, связывающих оба романа, концентрируется вокруг двух пар: Баздеева — Безухова, с одной стороны, Берлиоза — Бездомного, с другой. То Воланд, то Берлиоз подхватывают иногда вопрос или мысль Пьера.

Начнем с фонетической организации этих парных фамилий, начинающихся с одной буквы и обязательно содержащих *б*, *е* и *з* в различных сочетаниях. Их положение идентично в однотипных фамилиях *Безухов* и *Бездомный*, по положению *б* и *з* с ними совпадает *Баздеев*, по положению *б* и *е* — *Берлиоз*. Сочетание *зд* и примыкающего *е* — общее для слов *Баздеев* — *Бездомный*.

Баздеев с Пьером, а Берлиоз с Иваном Бездомным беседуют о Боге, о существовании Бога, одни — встретившись на станции в Торжке, другие — расположившись на Патриарших под липами. (Встреча Пьера с Баздеевым, как и разговор Берлиоза с Бездомным, происходит хоть и не в начале романа, но тоже в некотором роде в начале — в первых главах второй части второго тома «Войны и мира». Эта встреча и беседа о Боге — единственная «очная» встреча Баздеева с Пьером, как и Берлиоза с Бездомным, так как последующие даны в дневниковых записях Пьера.) Причем, беседующие на Патриарших прудах вновь обращаются к вопросам, занимавшим их предшественников. Но там, где Пьер сомневается: «Я не понимаю (...), каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, у которого вы говорите», Берлиоз уверенно возражает «заграничному гостю»: «Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может».

Масон Баздеев и председатель правления МАССОЛИТа Берлиоз проповедуют, а их молодые собеседники чрезвычайно скоро соглашались с тем, чему так недавно (вольно или невольно) противоречили.

Пьер, признающийся масону в своей неверии, в следующую минуту уже «всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни».

Поэт же, как выяснил любознательный иностранец, был согласен с редактором, отрицающим существование Иисуса, «на все сто», а ведь в его поэме Иисус получился «ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж». [И это не удивительно: Пьера, с его вечными поисками («Что дурно, что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я?») и до встречи с Баздеевым нельзя назвать неверующим (в широком смысле), как Ивана Бездомного, написавшего апокриф вместо антирелигиозной поэмы, верующим.] Но функционально роль Баздеева выполняет не Берлиоз, а Воланд, показав атеистам Иешуа и заставив их, с помощью «самого надежного» доказательства бытия Божия, поверить в дьявола, а следовательно, и в Бога.

Ответ на мысленный вопрос Пьера: «Какая сила управляет всем?» содержится в словах Баздеева о высшей мудрости, объясняющей «все мироздание и занимаемое в нем место человека», мудрости, которая выше «знания умственного».

Та же «нелепая постановка вопроса» у навязчивого иностранца: «ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?» И страшное «седьмое доказательство», предъявленное дьяволом, также, увы, непостижимо умственным знанием.

Через несколько глав выясняется, наконец, куда пропал Пьер.

«Пьер, со времени исчезновения своего из дома, уже второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева».

«Он взял первого попавшегося ему извозчика, и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева».

Этот покойный и Патриаршие пруды, помещенные у Толстого на соседних страницах (в пределах одной главы), в заявлении Ивана Бездомного оказались рядом: «Вчера вечером я пришел с покойным М. А. Берлиозом на Патриаршие пруды...» Здесь, на Патриарших, и заканчивается ряд совпадений между «покойным Баздеевым» и «Берлиозом, который попал под трамвай», «не композитором».

И как Пьер жил «на пустой квартире покойного Баздеева», в пустой квартире покойного Берлиоза поселился сатана.

Открытие, некогда сделанное Пьером, очень поразило его: ничто и никто другой, но он, L'Russe Besuhof положит предел власти апокалиптического зверя — Наполеона.

«Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, L'empereur Napoleon и L'Russe Besuhof — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастью».

В дни умирания, разрушения Москвы и всей прежней жизни, в чужой пустой квартире, где он скрывался, эта мысль проснулась и овладела всем его существом. Одевшись в мужицкий кафтан, взяв тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах, Пьер вышел из дома на Патриарших, «чтобы исполнить то, что ему предопределено»: убить зверя.

Дважды подчеркивается то обстоятельство, что в эти два дня Пьер находился «в состоянии раздражения, близком к помешательству».

Другое помешательство («шизофрения, как и было сказано») тоже началось на Патриарших и отсюда же началась погоня Ивана Бездомного за иностранным консультантом, убившим Берлиоза. Преследуя «ненавистного неизвестного», Иван уже начинает догадываться, с кем имеет дело: «он, будем говорить прямо... с нечистой силой знается... и так его не поймашь».

Есть ряд деталей, связывающих две погони за нечистой силой (Пьера — в иносказательном, Ивана — в прямом смысле слова): «негодные» средства, используемые ими: тупой кинжал Пьера, свеча и иконка, присвоенные Иваном на кухне коммунальной квартиры; непреднамеренное переодевание Пьера (кафтан предназначался для тайного участия в народной защите Москвы) и вынужденное переодевание Ивана в рваную толстовку и полосатые кальсоны, оставленные приятным бородачом вместо его одежды.

На протяжении романа меняется отношение Пьера к Наполеону: для молодого Пьера это «величайший человек в мире», потом «жалкий комедиант» и, наконец — апокалиптический зверь, от которого, по мнению Пьера, происходит «несчастье всей Европы».

Иван Бездомный за один насыщенный вечер совершает путь

познания истины: от живого Иисуса к бесшабашному атеизму и от него к дьяволу.

И еще о помешательстве на Патриарших прудах.

В состоянии, близком к помешательству, Пьер думает об убийстве Наполеона. Его двойник — «полусумасшедший» брат Баздеева, украв у него пистолет, стреляет во французского офицера, как бы становясь Пьером в этот момент (кричит слуге, отнимающему пистолет: « — Ты кто? Бонапарт!»).

Бросаясь на пьяного (зеркало, отразившее его самого), чтобы не допустить убийства, Пьер «выздоровливает»: именно в этот момент становится совершенно ясно, что Наполеона он не убьет.

Симулирует безумие иностранный профессор, которого «здоровые» Берлиоз и Бездомный, не умея объяснить профессорских странностей, считают сумасшедшим. Однако «больной» — двойник будущего Ивана, его проекция, провокация на сумасшествие.

И, не выдержав соблазна, Иван Николаевич легко соскользнул в открывшуюся бездну (почва у него была подходящая, как заметил мастер), выпадая из «заколдованного, ничтожного мира московских привычек» и навсегда оставляя тиски своего атеистического «здоровья».

Безухов и Баздеев, искание Бога, покойный на Патриарших, исчезновение Пьера, вера и безверие — все это пародийно, неузнаваемо преобразилось в романе Булгакова. Сравнения висят на волоске, но перерезать волосок «может лишь тот, кто подвесил».

Алма-Ата



ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

Род Дмитрия Сергеевича Мережковского идет с Украины: прадед поэта Федор Мережко был из войсковой старшины города Глухова. Дед, Иван Федорович, при Павле I приехал в Петербург и, как сообщал Мережковский, «в качестве дворянина поступил младшим чином в Измайловский полк», принимал участие в войне 1812 года. Он и изменил фамилию Мережко на Мережковский. Отец поэта — с молодых лет чиновник, служил в придворной конторе, вышел в отставку в чине действительного тайного советника.

Поэт родился в 1866 году в одном из дворцовых зданий на Елагинском острове, в Петербурге. В Петербурге же окончил гимназию и историко-филологический факультет университета (1889). В 1881 году напечатал первое стихотворение. В период 1888—1904 годов выпустил четыре сборника стихов. Второй из них назывался «Символы (Песни и поэмы)» (1892) — отсюда, по словам Мережковского, и пошел в русской литературе термин «символисты». Молодой поэт знакомится с Плещеевым, Полонским, Майковым, Михайловским, Надсоном («полюбил его, как брата») — в русле надсоновских мотивов, надсоновской тональности и развивалось его раннее творчество. И постоянно звучала тема одиночества, тоски, неприятия окружающего мира: «И хочу, но не в силах любить я людей: я чужой среди них...»

Широкую известность приобрело довольно выпренное стихотворение Мережковского «Сакья-Муни» (1885). Многие его стихи в какой-то мере несли печать рационализма, рассудочности, в них отсутствовал поиск новых форм. О неощутимости формы в стихах Мережковского писал уже в 1907 году такой ее энтузиаст-символист, как Валерий Брюсов. Поэзия Мережковского в целом выражала декадентские настроения, и некоторые его стихи стали для «нового искусства» программными. В 90-х годах Мережковский входил в кружок «новых» поэтов-декадентов, группировавшихся в петербургском журнале «Северный вестник». В 1893 году он напечатал книгу-трактат «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Выступая против гражданской тенденциозности в поэзии, он утверждал «божественный идеализм» и дух религии как основы будущего

искусства. «Без веры в божественное начало мира,— писал он,— нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы!» И определял три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символизация, расширение художественной впечатлительности. Наряду с тогдашними сочинениями Н. Минского этот трактат Мережковского явился эстетическим манифестом ранних символистов.

Мережковский был в резкой оппозиции к официальной русской церкви. Он считал, что современное христианство находится в упадке, в «изнеможении», а подчиненность церкви римскому папе или русскому императору находил глубоким извращением истинной Христовой веры. Писатель развивал учение о «новом религиозном сознании», проповедовал религию «Третьего Завета», царства «Духа Святого и Плоти Святой», времени грядущего всеобщего Воскресения. Первый Завет, по Мережковскому,— библейский, с Богом Отцом; Второй или Новый — евангельский, с Богом Отцом и Богом Сыном. Третий Завет — откровение всех трех, высший синтез, примирение, слияние вечно враждующих, антиномичных христианства и язычества, духа и плоти, «неба и земли», царство Христа Грядущего, эра любви и свободы. «Религия — самое нужное из всех человеческих дел»,— считал Мережковский. Он и на историю, в частности на русскую революцию 1905 года, смотрел под углом религии и религиозной нравственности. В ранней юности Мережковский мечтал «уйти в народ», изучал труды философов-позитивистов и Дарвина, но вскоре эти увлечения были оттеснены чисто религиозными исканиями. «Все, что я говорю и думаю по вопросам религиозным,— писал Мережковский в автобиографии,— идет не от книг, не от чужих мыслей, а от моей собственной жизни — все это я пережил». В конце 90-х годов Мережковский явился одним из организаторов религиозно-философских собраний, где встречались и дискутировали церковные иерархи, философы и писатели,— эти собрания были запрещены обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым.

Поэзия в творчестве Мережковского довольно рано отошла на второй план. Он создает трилогию известных романов «Христос и Антихрист» — «Смерть богов» («Юлиан Отступник»), 1896; «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи»), 1901; «Антихрист» («Петр и Алексей»), 1905. Взгляд Мережковского на историю человечества как на противостояние и борьбу двух начал, двух правд — небесной и земной, Христа и Антихриста, противостояние, особенно обострявшееся в переломные времена, пронизал всю его художественную прозу. Позднее писатель дополнил трилогию «Христос и Антихрист» романами «Александр I» (1913) и «14 декабря»

(1918), пьесами «Павел I» (1908) и «Царевич Алексей» (1920). По распространенному мнению критиков, Мережковский в ущерб объективности подчинял исторический материал романов своей религиозно-философской схеме, однако, читая их, нельзя не подивиться эрудиции, обилию свежих сведений и подробностей, изысканности языка и яркости образов у писателя. При любом отношении к Мережковскому его романистика — уникальное явление в русской словесности. Окончательный суд над ней еще не вынесен ни в нашем, ни в зарубежном литературоведении.

Мережковский — не только поэт, романист и драматург. Несколько томов в его собрании сочинений занимают переводы древнегреческих трагиков, а, главное, по-своему замечательные исследования и статьи о литературе. Им созданы книги о Толстом и Достоевском, о Гоголе и Лермонтове. Он писал о Некрасове и Тютчеве, о Горьком и Леониде Андрееве; одним из первых, двадцатитрехлетним студентом, отметил в печати талант Чехова. Второе издание собрания сочинений Мережковского (1914) состояло из двадцати четырех томов.

Как известно, Мережковский вместе с женой, поэтессой З. Н. Гиппиус и критиком Д. В. Filosoфовым зимой 1920 года бежал из советской России, перейдя советско-польскую границу близ Жлобина. После недолгого пребывания в Польше он постоянно жил в Париже. Работоспособность его в эмиграции не иссякала. Он написал целый десяток новых книг. Это изданные в последнее время у нас роман о зарождении христианства «Тутанкамон на Крите» (1924), историческое повествование «Наполеон» (1929), книга-эссе «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (1931). Перечислим остальные, пока в нашей стране не изданные: роман «Мессия» (1925), «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1925), «Иисус Неизвестный» (1933), «Павел и Августин» (1937), «Франциск Ассизский» (1938), «Жанна д'Арк» (1938), «Данте» (1939). Оглядывая этот перечень, вспоминаешь давние слова Брюсова о Мережковском: «Он писатель европейский, а не местный, русский!»

Умер Мережковский в Париже 9 декабря 1941 года.

Н. В. Банников



Парки

Будь, что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.

Всё наскучило давно
Трем богиням, вешим пряхам:
Было прахом, будет прахом,—
Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы
Тянут парки из кудели,
Без начала и без цели.
Не склоняют их мольбы,

Не пленяет красота:
Головой оне качают,
Правду горькую вещают
Их поблеклые уста.

Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,

А распутать не умею,
Покориться не могу.

Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,

Цепи рабства и любви,—
Всё, пред чем я полон страхом,—
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!

〈1892〉

Дети ночи

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.

Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.

Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.

〈1894〉

Поэт

Сладок мне венец забвенья темный.
Посреди ликующих глупцов
Я иду отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков.

Но душа не хочет примиренья
И не знает, что такое страх;
К людям в ней — великое презренье,
И любовь, любовь в моих очах:

Я люблю безумную свободу!
Выше храмов, тюрем и дворцов
Мчится дух мой к дальнему восходу,
В царство ветра, солнца и орлов.

А внизу меж тем, как призрак темный,
Посреди ликующих глупцов,
Я иду отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков.

1894

* *

*

«Христос воскрес» — поют во храме;
Но грустно мне... Душа молчит:
Мир полон кровью и слезами,
И этот гимн пред алтарями
Так оскорбительно звучит.
Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш славный век:
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек,
И если б здесь в блестящем храме
«Христос воскрес» Он услышал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал!

Пусть на земле не будет, братья,
Ни властелинов, ни рабов,

Умолкнут стоны и проклятья,
И стук мечей, и звон оков,—
О, лишь тогда, как гимн свободы,
Пусть загремит: «Христос воскрес»,
И нам ответят все народы:
«Христос воистину воскрес!»

1887

Ноябрь

Бледный месяц — на ущербе,
Воздух — звонок, мертв и чист,
И на голой, зябкой вербе
Шелестит увядший лист.

Замерзает, тяжелеет
В бездне тихого пруда,
И чернеет, и густеет
Неподвижная вода.

Бледный месяц на ущербе
Умирающий лежит,
И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.

Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.

1895

Зимний вечер

О бледная луна
Над бледными полями!
Какая тишина —
Над зимними полями!
О тусклая луна
С недобрыми очами...
Кругом — покой велик.
К земле тростник поник,

Нагой, сухой и тощий...
Луны проклятый лик
Исполнен злобной мощи...
К земле поник тростник,
Больной, сухой и тощий...
Вороны хриплый крик
Из голы слышен рощи.
А в небе — тишина,
Как в оскверненном храме...
Какая тишина —
Над зимними полями!
Преступная луна,
Ты ужасом полна —
Над яркими снегами!..

1895

Веселые думы

Без веры давно, без надежд, без любви,
О, странно веселые думы мои!

Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов.

1900

Леонардо да Винчи

О Винчи, ты во всем — единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!

Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик,
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.

И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены, —
И не безгрешна их печаль.

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети,
Больных и сумрачных веков:
Во мраке будущих столетий
Он, непонятен и суров,

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богopodobный человек.

1895

Молитва о крыльях

Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах,—
Мы лежим, во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!

1902





О пушкиниане П. Н. Милюкова и ее парадоксах

Видный русский историк и общественный деятель Павел Николаевич Милюков (1859—1943) многое сумел и успел сделать на разных поприщах в России, хотя, как вскоре выяснилось, далеко не все его деяния пошли (объективно) на благо родной стране. Активная деятельность продолжалась и в эмиграции, где Милюков стал признанным идейным лидером левого крыла, сосредоточившим в то же время в своих руках и многие административные бразды (в частности, он долгие годы был редактором парижских «Последних новостей» — крупнейшей русской газеты в изгнании). Все это, однако, не прерывало научной работы. Более того, именно в эмиграции у Милюкова появились новые темы, а иные старые, прежде едва обозначенные, теперь были разработаны со свойственной ученому обстоятельностью. К таким темам едва ли не в первую очередь следует отнести пушкинскую, где он создал ряд небезынтересных трудов. Не случайно (и не только за общественный «рейтинг») в 1937-м году, когда Русское Зарубежье повсеместно отмечало пушкинскую годовщину, Милюков был избран товарищем председателя Центрального Пушкинского Комитета в Париже — престарелый генерал от либерализма отнюдь не походил в этом кресле на свадебного генерала.

Тот год вообще стал вершиной пушкиноведческих усилий Милюкова. Он неоднократно выступал на публичных чтениях о поэте. В знаменитой однодневной парижской газете «Пушкин»

(к сожалению, до сих пор не переизданной в России) поместил статью «Пушкин и народность». Другое его сочинение появилось на страницах авторитетного «Le Monde Slave». Многие были сделаны ученым и по части организации всемирных пушкинских торжеств. В те же месяцы в Париже, в издательстве «Родник», вышла книга Милюкова «Живой Пушкин (1837—1937). Историко-биографический очерк». В первой главе автор так сформулировал свои задачи: «Пушкин „живой“ достаточно велик, в самом деле, чтобы ставить его на ходули. Он — такой „живой“, что мы забываем хронологическое расстояние, отделяющее нас от него, и склонны судить о нем, как о нашем современнике. Это и справедливо и несправедливо. Справедливо потому, что каждому из нас, русских, здесь и по ту сторону черты, он понятен и близок. Он вызывает в нас все те же эмоции, которые вызывало его творчество: он вечен. Но и несправедливо судить о Пушкине, прилагая к нему наши критерии и подчас осуждая его — за то, что они к нему не приложимы. Мы забываем перспективу. Пушкин, при всем своем величии и вечности, все же сын своего века, своей среды, своего происхождения. Нет нужды бояться восстановить эту историческую перспективу. Напротив, именно на этом фоне, выделяясь как личность, фигура Пушкина получает настоящее рельефное освещение. Только при таком сопоставлении он и выходит истинно „живым“».

Надо отметить, что, резонно ратуя за «исторический» подход к изучению Пушкина, Милюков — кадет, либерал, западник — несмотря на все старания, все же не смог преодолеть «сопротивление материала». Или, точнее, все же преодолел, совершив некоторое, едва различимое на глаз, насилие над фактами. Быть может, оно было неизбежно. В итоге автор сместил некоторые акценты, воссоздав своего Пушкина, передвинув его влево и ненавязчиво секуляризовав жизнь поэта. Думается, что «живой» Пушкин, особенно Пушкин зрелый (со второй половины 20-х годов) все же отличался от милюковской модели. Чем — разговор особый, не вместимый в рамки скромного предисловия. Да и написано на эту тему было немало, в том числе и мыслителями-изгнанниками — П. Б. Струве, С. Л. Франком и другими. Кстати, некоторые из таких глубоких работ, ставших подлинным приближением к Пушкину, переизданы за последние годы в России.

Тем не менее книга Милюкова имела успех. В одних кругах — восторженный, в иных — более сдержанный. Появились и благожелательные рецензии, например, Н. К. Кульмана в журнале «Современные записки» или Георгия Адамовича в уже упомянутых «Последних новостях». В том же году потребовалось — случай

весьма редкий для эмиграции — второе издание «Живого Пушкина». Разумеется, параллельно звучали (из правого лагеря) и упреки, и нападки на сочинение, но они не носили, как правило, концептуального характера, а зачастую сводились просто к «личностям». Вероятно, нет нужды говорить, что подобный уровень дискуссии с версией, пусть даже и небезгрешной, вряд ли принес пользу пушкиноведению. Спокойной и взвешенной оценки книги Милюкова, ее достоинств и промахов (подчас серьезных), нет, кажется, до сих пор. Стимулировать такой анализ может, видимо, лишь переиздание ее в нашей стране и ознакомление с данным сочинением и публики, и ученого сообщества.

Перечисленные выше труды не исчерпывают библиографию Пушкинианы Милюкова. Была у ученого еще одна работа, написанная задолго до нашумевшей книги, в 1926 году (в «Живом Пушкине» встречаются ее отдаленные отголоски). Это статья «Пушкин и Чаадаев». Статья, которая, пожалуй, стоит особняком в его пушкиноведческом ряду и, более того, не совсем вписывающаяся в ту систему идейных координат, которую разработал для себя и которой придерживался на протяжении десятилетий автор «Очерков по истории русской культуры».

Тема «Пушкин и Чаадаев» чрезвычайно важна, причем не только для науки о Пушкине, ибо затрагивает вопросы, основополагающие для самого русского бытия. Взаимоотношения двух «исторических лиц», начавшиеся с быт о в о й дружбы (подкрепленной известным политическим единомыслием), в итоге трансформировались в принципиальный спор (при сохранении личной приязни). Этот спор (аргументированный с обеих сторон) о с у дь ба х и п у т я х России не прекратился со смертью поэта. Видоизменяясь, он идет и по сей день. Наверное, он извечен и неотделим от державы, становясь особенно ожесточенным на поворотных пунктах ее существования. Таким пунктом был, разумеется, и приснопамятный 1917-й год, и годы последующие, вместившие в себя и братоубийственную войну, и трагический русский исход. «Пушкин и (или) Чаадаев» переводилось отныне многими (в том числе и в эмиграции) на язык двадцатого столетия как «Восток и (или) Запад», «консерватизм и (или) либерализм», «реставрация и (или) революция» и т. д. Вступил в спор и Милюков и, надо признать, занял в статье 1926 года неожиданную позицию.

Казалось бы, Милюкову, всю жизнь — и печатно, и деятельно — служившему определенным идеалам, гораздо ближе должны быть, пусть даже с некоторыми оговорками, взгляды Чаадаева. Но в д а н н о й статье такая близость почти не прослеживается. Более того, в иных пассажах историк, порицая отдельные мысли автора

«Философических писем», намеренно выпрямляет их, подводя к грани русофобии. И тут же — несмотря на академически суховатый стиль — нескрываема с и м п а т и я к Пушкину (которая, естественно, не тождественна единомыслию), декларации о п р а в о т е поэта.

Остается только гадать, чем были вызваны такие размышления Милюкова, явно маргинальные для него. Едва ли можно объяснить их тем обстоятельством, что статья была предназначена для «пушкинской» газеты, где, стало быть, негоже плыть против течения. Не годится для вразумления читателя и тезис о «покаянии» историка, якобы критически осмыслившего свою деятельность в России и имевшего возможность наблюдать издали, во что вылилась проповеданная им (и многими его соратниками) «народная свобода». Последующая жизнь Милюкова не дает оснований в подтверждение этого тезиса. Быть может, вернее говорить об умении ученого-политика тонко чувствовать ситуацию, приспосабливаться к моменту, корректировать некоторые, преимущественно чисто внешние, творческие и общественные жесты. Можно привести немало примеров схожей тактики Милюкова — как в России, так и в эмиграции (особенно в предвоенные и военные годы). Впрочем, это лишь осторожное предположение. Как бы то ни было, в 1926 году Милюковым была написана статья, которая, как представляется, и донныне не утратила своего значения.

Эта статья была опубликована в парижской однодневной газете «День Русской Культуры», которая вышла в свет 8 июня 1926 года. Здесь труд Милюкова воспроизводится по первоисточнику. По имеющимся сведениям, лишь в немногих крупнейших библиотеках и архивохранилищах мира сохранилось это уникальное издание.

В публикации сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.



П. Н. МИЛЮКОВ
ПУШКИН И ЧААДАЕВ

Я хочу выбрать на этот раз небольшой, но очень знаменательный эпизод из жизни нашего великого национального поэта: его сношения с самым выдающимся русским мыслителем тех лет П. Я. Чаадаевым. В 1817 году, через год после знакомства с Чаадаевым на последнем курсе лицея, Пушкин написал свою знаменитую характеристику Чаадаева: «он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес» и т. д.¹ В 1831 году, в расцвете славы Пушкина, Чаадаев писал ему: «какое несчастье, мой друг, что нам не пришлось сойтись ближе в жизни. Я продолжаю думать, что нам следовало бы идти об руку и что из этого вышло бы нечто полезное и для нас, и для других»². Эти две даты отмечают два периода дружбы двух знаменитых современников: *первый* период, когда школьник — Пушкин сделался послушным учеником своего старшего товарища (Чаадаеву было тогда 22 года, Пушкину 17), — и *второй* период, когда окончательно определившееся религиозно-философское мировоззрение прежнего ментора столкнулось с зрелым складом ума и мысли великого художника. Сопоставление этих двух моментов очень хорошо помогает нам измерить духовный рост Пушкина сравнительно с большим, но остановившимся масштабом мысли его старого друга, желавшего сохранить роль руководителя.

Блестящий гвардейский офицер, «красавец» — Чаадаев 1817—1821 годов действительно сделался властителем дум только что окончившего лицеиста. После лицейских возлияний Бахусу и Венере, Чаадаев познакомил Пушкина с серьезной стороной жизни: он показал ему эту жизнь с теми чертами, которые

особенно увлекали молодых снобов того поколения. Очарование, правда, длилось не долго. Едва выйдя из этого периода развития, Пушкин пишет Вяземскому (в 1823 году): «Видишь ли ты иногда Чаадаева? он вымыл мне голову за [Кавказского] Пленника. Он находит, что он недовольно *blasé* ³. Чаадаев, *по несчастию*, знаток по этой части; *оживи* его прекрасную душу, поэт!» ⁴ В этих немногих словах мы уже видим ученика, переросшего учителя. Конечно, «Кавказский Пленник», по позднейшему признанию самого Пушкина, еще «слаб, молод, неполон». Это — «первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил». Но это — именно тот тип, в который Чаадаев хотел перелить Пушкина, по собственному образу и подобию:

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви — безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы...

Сравните эти стихи «Кавказского Пленника» с двумя из трех посланий к Чаадаеву периода Чаадаевской выучки (1817—21):

Любви, надежды, гордой славы
Недолго тешил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как дым, как утренний туман (...)

И в третьем послании:

Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг (...)
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей,
Я тайно изнывал, страдалец утомленный (...)
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором (...)
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть ⁵.

Сравните теперь приведенные цитаты с очерком того же «характера», с которым Пушкин «едва сладил» в «Кавказском Пленнике», — в известных строфах «Евгения Онегина», характеризующих личное отношение поэта к своему герою:

Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время,
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас,
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей —
На самом утре наших дней.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
(...) Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм...

Хотел или не хотел этого Пушкин, но это — точная картина влияния Чаадаева и точная характеристика его манеры. У Чаадаева можно найти сколько угодно примеров такого же горделивого презрения к людям, его окружающим. В письме к брату 1820 года, говоря о бескровной испанской революции, Чаадаев предупреждает мысль, что он хочет подействовать этим примером на других следующими словами: «меня считают демагогом. Глупцы, они не понимают, что, кто *презирает свет, не станет заботиться о его исправлении*»⁷. И сообщая через восемь месяцев тетке о своем прошении об отставке от службы, Чаадаев поясняет: «я слишком честолобив, чтобы гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустым почетом. Мне было приятно выказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми. Еще приятнее видеть злобу высокомерного глупца»⁸.

Очевидно, секрет влияния Чаадаева на Пушкина в эти юные годы нужно искать прежде всего в этом его умении гордо носить «нарядную печаль» и «бесстрастно наблюдать ветренную толпу»: в этом особом тоне светской разочарованности и презрительного высокомерия, которые Пушкин придал потом своему Евгению Онегину.

Сравнительно с этим влиянием на возмужание души, отходит на второй план другая сторона влияния Чаадаева, о которой чаще всего говорилось: влияния политических идей «декабризма» через Чаадаева на Пушкина. Об этом влиянии, правда, свидетельствует сам Пушкин, рассказывая в цитированном выше пос-

лании к Чаадаеву, что заменило «юные забавы» в результате их совместного серьезного чтения и разговоров:

Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душою
Отчизны внедем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

Ни Чаадаев, ни тем более Пушкин в сущности не были настоящими декабристами. На декабрьский переворот Чаадаев смотрел позднее, как на «несчастье, отодвинувшее Россию на полвека», и так же отзывался об июльской революции 1830 года. Уже в 1820 году, а окончательно в 1822 году Чаадаев подвергся влиянию новых тогда идей религиозного романтизма. И не случайно после Семеновской истории⁹ он вышел в отставку, уединился и уехал в заграничное путешествие, продолжавшееся как раз те три года (1823—25), в которые декабристская идея окончательно созрела. За границу Чаадаев увез с собой сочинения модного мистика Юнга-Штиллинга¹⁰, и в Лондоне, вместо наблюдений над британскими вольностями, он предавался духовным упражнениям над собой. Его серьезность и презрение к людям приняла тут форму угрюмого отчуждения, из которого он вышел только в 1830 году. Это настроение еще усиливалось болезненным состоянием мнимым или настоящим. Чаадаев был уверен, что ему остается готовиться к переходу в вечность и думал о спасении души путем предания воли Богу. Это настроение разрешилось в 1829 году сочинением знаменитых «Писем о философии истории», в которых Чаадаев развил теорию всемирного развития христианской идеи в человечестве в форме единой спасающей церкви, постепенно покоряющей своему влиянию весь мир — то есть католичества. Своего презрения к окружающей его русской среде он не изменил, но придал ему характер яркого отрицания всего русского прошлого, в котором он не находил ничего из того, что составляло сущность культурного развития западного человечества. Так вышло, что этот религиозный мыслитель, взявший себе в руководители вождей западной католической реакции, Де-Местра и Бональда¹¹, в этой одной точке совпал с выводами тогдашнего русского радикализма или «западничества». Страстный и яркий протест Чаадаева против пустоты и бессодержательности старой русской традиции был принят и усвоен поколением Герцена, как выражение их собственных мыслей. А последовавшая за опубликованием первого «философического письма» в «Телескопе» 1836 года правительственная кара укрепила за Чаадаевым репутацию

либерала и оппозиционера. Так смотрела на отрицание Чаадаева не только широкая публика. Близкий ему круг друзей Пушкина резко реагировал на появление этого письма в печати отрицательными характеристиками личности Чаадаева. Вяземский писал: «письма Чаадаева не что иное, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин». Это было совершенно верно. Неверно только то, что Россия Карамзина была «списана с подлинника». Несомненно, гораздо ближе к подлиннику подходило отрицание Чаадаева, хотя, оставаясь одним только отрицанием, оно, тоже, естественно, было неполно и односторонне. Вяземский предпочитал, конечно, Карамзинский сентиментально-патриотический снимок — и давал ядовитое толкование Чаадаевскому отрицанию. Все личные достоинства Чаадаева, так повлиявшие на молодого Пушкина, в этой характеристике приобретали отрицательный оттенок. Вяземский писал А. И. Тургеневу, что в произведении Чаадаева видит только «непомерное самолюбие, раздраженную жажду театральной эффектности и большую неясность, зыбкость и туманность в понятиях». «Такого рода парадоксы хороши у камина для оживления разговора», — замечал Вяземский, очевидно, намекая на обычную манеру споров Чаадаева с друзьями на его журфиксах, — «но далее пускать их нельзя, особенно же у нас, где умы не приготовлены и не обдержаны прениями противоположных мнений»¹².

Как видим, и радикальные защитники Чаадаевского отрицания, тогдашние «западники», и его новые противники, склонявшиеся к консерватизму, не хотели понять той почвы, на которой созрело у Чаадаева его отрицание старой русской безыдейности. За Чаадаевым — обличителем русского настоящего и отрицателем русского прошлого — они не хотели видеть глубокого религиозного мыслителя, оказавшегося предшественником Владимира Соловьева. Как же поступил в этом случае старый друг Чаадаева Пушкин, так много ему обязанный своим душевным переломом на заре «юных дней»?

Чаадаев, с своей стороны, не изменил старой дружбе. Но, проникнутый своей универсальной идеей, он с возрастающим недовольством и нетерпением смотрел на то, что величайший из его русских современников по силе таланта не хочет или не может подняться на достигнутую им самим высоту по силе мысли. Чаадаев, действительно, продолжал думать о себе очень много и это мнение перенес и на то, что считал своим открытием в мире мысли. Приобщить к своему открытию поэта, сделать его глашатаем высокой истины, призванной поднять нить мирового развития, оборванную Россией, и поставить Россию во главе

дальнейшего мирового процесса,— это желание сделалось для Чаадаева живейшей душевной потребностью. В таком настроении он пишет Пушкину ряд писем в 1829 и 1831 годах. Как бы стремясь возобновить совместные чтения 1817—1820 годов, он посылает Пушкину книгу, которая, «трактуя понемногу обо всем, быть может, пробудит у Пушкина несколько хороших мыслей»¹³. По всей вероятности, как догадывается Гершензон, это была книга Ансильона: «Мысли о человеке, его отношениях и интересах»¹⁴. Своей цели Чаадаев при этом не скрывает. Надо ввести Пушкина в идеи века. «Мое самое горячее желание,— начинает он свое письмо 1829 года,— видеть вас посвященным в мистику времени. Нет более удручающего зрелища в моральном мире, как видеть человека с гением, который не знает своего века и своей миссии. Когда видишь, что тот, кто должен властвовать над умами, сам подчиняется власти привычек и рутины толпы, то чувствуешь, точно сам остановлен в своем движении вперед. Спрашиваешь себя: почему этот человек, который должен меня вести, мешает мне идти?.. Пустите же меня идти, пожалуйста! Если у вас нет терпения познакомиться с тем, что происходит на свете, углубитесь в себя и извлеките из своего существа тот свет, который, несомненно, имеется в душе, подобной вашей. Я убежден, что вы можете сделать бесконечно много добра этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите своего предназначения». И Чаадаев рядом примеров доказывает Пушкину, что он может стать всемирно известным, если «кинет крик к небу»¹⁵.

Мы не знаем, как Пушкин ответил на это письмо. Но за ним последовало сообщение Пушкину только что написанных Чаадаевым «философических писем». Задолго до опубликования первого из них в «Телескопе» Пушкин ознакомился с ними в рукописи — и даже пробовал помочь Чаадаеву их печатать. Но при всей своей отдаленности от мира идей, который пытался открыть ему Чаадаев, Пушкин сразу заметил слабые стороны его исторического построения. В 1831 году Пушкин пишет Вяземскому: «Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападают на реформацию?»¹⁶. Чаадаев понимал, почему он нападал: в реформации он усматривал шаг назад от того вселенского единения, к которому призывал, как к предварительному условию полного торжества христианской идеи на земле. Но в сочинениях его католических вдохновителей — как и у теперешних их последователей — вместе с реформацией отвергалось все новейшее развитие европейской жизни и мысли. Пушкин мог не проникнуть в глубину мотива Чаадаева, заставлявшего его отвергать реформацию (хотя в то же время Чаадаев признавал английскую

революцию, как основанную на религиозном начале). Но такой кричащей бессмыслицы, как отрицание всего новейшего периода европейской истории, очевидно, не мог допустить здравый смысл Пушкина.

Чаадаев, однако, не потерял надежды обратить Пушкина в свою веру. В июне, в июле, в сентябре 1831 года¹⁷ он пишет Пушкину повторные просьбы — сперва дать движение его рукописи («философических писем»), — ибо это — призвание всей его жизни, а также и способ — выйти из безвестности; потом — хоть вернуть рукопись. Пушкин отвечает не «длинным письмом», которого ждет Чаадаев, а любезным предложением — возобновить царскосельские беседы¹⁸. Чаадаев делает еще одну попытку. Почерк Пушкина напомнил ему старое время, (этих бесед с лицеистом — Пушкиным), — которое, правда, «немногого стоило», по его теперешней оценке, но «тогда еще была надежда и еще не наступали великие разочарования». Он, говорит, конечно, о себе; но и Пушкин тогда «еще не исчерпал всех реальностей». То было время «обманчивых» грез счастливого возраста неведения. Теперь, если Пушкин хочет возобновить беседы, Чаадаев может говорить только об одной мысли: если какие-нибудь другие придут ему в голову, — это опять-таки в связи с той единственной. И он предупреждает Пушкина: «я не в смешливом настроении, а вы нервны» ... Но, «если уже непременно хотите, — потолкуем». И Чаадаев развивает Пушкину свою своеобразную эсхатологию. Мир моральный, как и мир физический, чреват чем-то необыкновенным, каким-то «великим потрясением вещей». Целый мир гибнет; новый мир возникает на его развалинах. Может быть, это новая политическая философия (социализм), которую С-Симон¹⁹ проповедует теперь в Париже; может быть, это новый католицизм, которым несколько смелых священников пытаются заменить старый, традиционный. Еще год назад мир пребывал в чувстве безопасности за настоящее и будущее. Теперь, после июльской революции²⁰, все подвергается крушению. Из всего этого выйдет добро: разум вернется к разуму. Но как, когда это случится? «Смутное сознание говорит мне, что придет человек, который принесет с собой истину времени». Неужели на все это не найдется отголоска в душе поэта — пророка? Как я хотел бы вызвать сразу всю мощь вашей поэтической природы!» Все, что таится под слоем «старых идей, привычек, конбенансов!» Извлеките же из-под спуда «одну из песней, которых дожидается век!» Не пришел ли наш Данте?

На этой высокой ноте сношения Чаадаева с Пушкиным обрываются — надо думать, не случайно. В известном смысле Пушкин уже был нашим Данте, когда писались эти строки. Но,

конечно, не в том смысле, какого жаждал Чаадаев. Ни нового мирового откровения, ни даже отклика на все то, чем жило в тот момент западное человечество, Пушкин не дал. Ему чужды были и Чаадаевские попытки провидеть зарницы в тумане будущего. Но за то он и не прикован, как Чаадаев, к той «единой мысли», которая доводила Чаадаева до его парадоксов. В своем письме Чаадаеву 6 июля 1831 года Пушкин признает большие достоинства Чаадаевского произведения. «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, идее истинного Бога, античном искусстве, протестантизме,— удивительно по силе, правде и красноречию». Но... «Ваш взгляд на историю для меня совершенно нов,— я не могу во всем быть вашего мнения...» И не доводя своей критики до основ Чаадаевского мировоззрения, Пушкин бегло перебирает спорные детали. «Не понимаю вашего отвращения к Марку Аврелию (чтобы возвеличить Давида)... Почему вы негодуете на Гомера, давшего верную картину языческого политеизма?... Ведь кровавые сцены Илиады повторяются и в Библии... Христианская идея не только в католицизме, но и в идее Христа, а эта идея повторяется и в протестантизме?»

Пушкин даже рискует намекнуть на эволюцию христианской мысли. «Первая идея была монархической, потом она стала республиканской...». Вот мотив из царскосельских бесед, примененный к новому мировоззрению...

Беседа с Чаадаевым по поводу его «философических писем» возобновляется у Пушкина только уже в последний год его жизни по поводу посланного ему Чаадаевым печатного оттиска первого письма из «Телескопа». И тут Пушкин оказывается на своей собственной, не заимствованной высоте. Он не разделяет раздражения, овладевшего его друзьями, как Вяземский после напечатания «Письма». Правда, он повторяет (в письме 19 октября 1836 года): «что касается идей, вы знаете, что я далеко не разделяю всех ваших мнений». Но он признает, что именно в отрицании Чаадаева — «много глубоко верного». Наше «социальное существование, отсутствие общественного мнения, безразличное отношение к долгу, справедливости и истине, циническое презрение к мысли и достоинству человеческого — все это так,— и все это вещи, поистине удручающие». «Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Но Пушкин никак не может согласиться с огульно-отрицательной оценкой нашего прошлого и принимается своими силами искать в русской истории положительных черт. «Наша изолированность и отсталость — плод того, что нам пришлось спасти западную христианскую цивилизацию от монголов. Нам нужно было жить в стороне, чтобы не ослабить энергию Европы». Мы взяли нашу веру из Византии — отрав-

ленного источника? Но мы заимствовали от греков только Евангелие и предания, а вовсе не их детские богословские споры. Наши удельные драки — черта «молодости народов». За печальной картиной нашествия варваров следуют картины пробуждения, развития силы, объединения. А дальше идут два Ивана, драма в Угличе, Петр, Екатерина, Александр, «который привел нас в Париж», наконец, настоящее царствование, хотя «я далеко не восхищаюсь» Николаем, и как писатель, чувствую себя *aigri et froissé*²¹. Во всяком случае, кончает Пушкин свой перечень, — я «ни за что не хотел бы переменить родину и иметь другую историю, кроме истории предков, данной нам Богом».

Во всех этих штрихах нет Чаадаевской углубленности. Мысль не сведена воедино, как того требовало новое мировоззрение начала XIX века. Эта мысль будет вновь углублена и развита дальше младшими сверстниками Чаадаева, славянофилами, в сороковых годах. *Отрицанию* прошлого будет противопоставлено столь же одностороннее *восхваление*. В прошлом будет, наконец, найдено единое мировое начало, которого не находил Чаадаев, — начало связывающее прошлое с русским будущим, с исполнением Россией ее мировой миссии. Надо заметить, что мысль об этой миссии не совершенно чужда Пушкину. Быть может, откликом тех же царскосельских бесед звучит строфа из стихотворения «Наполеон»:

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал²².

Но эта миссия, очевидно, не та, которую указал Чаадаев и которую, возражая ему в другом варианте, указали славянофилы. Характерно для Пушкина то, что, сторонясь от Чаадаевской односторонности, он тщательно сторонится и от односторонности славянофильской — поскольку она очертилась при его жизни. Сохраняя широту и свободу мысли, он находит возможность связать идеи конца своих дней с идеями ранних царскосельских бесед. Как бы инстинктом Пушкин чувствовал, что связать себя с этими «единицами идеями» значило бы слишком приковать себя к данному моменту, тогда как его поэзия должна была говорить всем временам. И Пушкин оказался прав. Пласты глубоких, но сменявших друг друга мировоззрений Чаадаева и следующих поколений давно лежат под историческим спудом. Но так же свежо и ярко, как прежде, говорит с нами неумирающее, вещее слово Пушкина.

Примечания

Публикуется по изд.: *День Русской Культуры. Париж. 1926. 8 июня. С. 2—3.* В цитатах исправлены неточности, характерные для зарубежных изданий того времени.

1. «К портрету Чаадаева» обычно датируется 1817—1820 годами.
2. Письмо Чаадаева от 17 июня 1831 года было написано по-французски.
3. пресыщенный, скептический (*фр.*).
4. Письмо от 6 февраля 1823 года из Кишинева. Курсив П. Н. Милюкова.
5. Курсив П. Н. Милюкова.
6. «Евгений Онегин», глава первая, стр. 45—46. Курсив П. Н. Милюкова.
7. Письмо к М. Я. Чаадаеву от 25 марта 1820 года было написано по-французски.
8. Письмо к княжне А. М. Щербатовой от 2 января 1821 года было написано по-французски.
9. Имеется в виду протест солдат Семеновского полка против чрезмерно сурового обращения с ними полкового командира полковника Г. Е. Шварца в октябре 1820 года. Тогда же, 21 октября, Чаадаев был послан с донесением о случившемся к императору Александру I, находившемуся на конгрессе Священного Союза в Троппау. По возвращении, 23 декабря, он подал прошение об отставке, которую и получил 21 февраля 1821 года. Видимо, «Семеновская история» была не единственной причиной такого шага, а лишь стимулировала принятие решения.
10. Юнг-Штилинг Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий мистик, труды которого были весьма популярны в России в начале XIX века.
11. Местр Жозеф Мари де (1753—1821) — граф, французский философ, публицист и политический деятель; в 1802—1817 годах посланник сардинского короля в Петербурге. Бональд Луи Габриэль Амбруаз (1754—1840) — французский философ, публицист и политический деятель; современники (например, А. И. Тургенев в письме Пушкину от 15 июля 1831 года) называли его «предтечей» Чаадаева.
12. Письмо князя П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 28 октября 1836 года из Петербурга.
13. Письмо датируется мартом—апрелем 1829 года.
14. Речь идет о книге французского историка и философа Жана Пьера Фредерика Ансильона (1767—1837). На форзаце книги Чаадаев сделал следующую надпись: «Мозг поэта построен

иначе не в смысле образования идей, но в смысле их выражения. Ведь не мысль делает человека поэтом, а ее выражение. Поэтическое вдохновение — вдохновение словом, а не мыслью. Поэтический язык — сама поэзия. Разве есть поэты в прозе? Только французы, такой несомненно прозаический народ, могли вообразить, что во Франции есть поэты. Верно, что их поэты — прозаики, но не..., что их произведения поэтичны. Говорят образ, образ... Но образ — это материал поэзии; а не поэзия; если он не выражен поэтически, это просто геометрическая фигура и ничего более» (Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 589). Приведенная цитата была взята Чаадаевым из той самой книги, которая вышла в свет в Берлине в 1829 году (в 2-х томах). Книга сохранилась в библиотеке Пушкина.

15. Письмо написано по-французски.
16. Письмо от 3 августа 1831 года из Царского Села.
17. Письма датируются соответственно 17 июня, 7 июля и 18 сентября 1831 года.
18. Письмо от 6 июля 1831 года из Царского Села (написано по-французски).
19. Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский философ, социалист-утопист.
20. Имеется в виду революция 1830 года во Франции.
21. раздраженным и оскорбленным (*фр.*).
22. Из «Наполеона» (1821). Курсив П. Н. Милюкова.

Публикация и комментарии
М. Д. Филина





Контекст: слово в языке и в словаре

О. Е. ИВАНОВА,
кандидат филологических наук

Общеизвестно, что фиксация слов в словарях всегда отстает от реального языкового развития. Однако лексикографическая практика все же должна стремиться не оставлять без внимания те изменения, которые уже произошли в лексической системе языка. Так, если потребуется определить, в каком значении употребляется слово *контекст* в предложении *Стороны обсудили вопросы в контексте общего хода международных событий* или в выражениях *широкий политический контекст*, *в контексте истории*, естественно обратиться за помощью к словарям современного русского языка. В наиболее авторитетных и доступных словарных изданиях — Словаре Ожегова и Малом академическом четырехтомном словаре, а также в Советском энциклопедическом словаре смысл слова *контекст* раскрывается или как «относительно законченная в смысловом отношении часть текста, высказывания» (Словарь Ожегова), или, подробнее, как «законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы» (МАС).

Очевидно, что не это специализированное значение реализуется в звучащих сегодня с экрана телевизора, по радио, в устных

выступлениях, а также встречающихся на газетной полосе и в научных трудах сочетаниях *в контексте времени, современности, исторической действительности, культуры, общественных настроений, событий последнего времени, политического урегулирования; мировой контекст, литературно-общественный контекст* и мн. др. Справедливым будет предположить, что у слова появляется или появилось новое значение, которое очень активно закрепляется в современном языковом употреблении, прежде всего в языке массовой коммуникации.

Слово *контекст* (латинское *contextus* «сплетение, соединение, связь») впервые зафиксировано в «Новом словотолкователе» Николая Яновского (1804). Здесь оно как термин науки получило определение, в принципе мало чем отличающееся от определений в современных словарях. Появившись в лексиконе профессионалов, занимающихся исследованием письменных текстов, оно дожило до сегодняшнего дня и очень широко используется специалистами в области лингвистики. Однако то, как употребляется слово *контекст* сегодня, означает, что оно вышло за пределы узкой терминологической системы языкознания, обрело свое место в общелитературном языке.

Первым шагом на пути семантических сдвигов в слове *контекст* становится, по-видимому, применение его в более широкой сфере: не только в языкознании, но и в филологии. Возможности для этого заложены уже в самом терминологическом значении, в котором исходно имеются два основных компонента смысла: первый — «текст неопределенной величины», второй — «достаточность текста для определения смысла его составляющей». Неопределенность первого смыслового компонента (текст) и служит, с нашей точки зрения, базой расширения сферы терминологического употребления слова *контекст*.

В силу того, что понятие «текст» охватывает все явления, которые можно квалифицировать как произведения речи (письменные и устные), становится возможным применить термин *контекст* для обозначения не только отрезка текста, но и для обозначения словесного художественного целого (*контекст произведения, в контексте романа*), совокупности произведений одного автора (*в контексте поэзии Вознесенского, контекст творчества поэта, в контексте творчества Пушкина*), совокупности произведений одного жанра, типа (*контекст художественной литературы*), совокупности произведений, написанных на том или ином языке (*в контексте всей русской литературы*) или созданных в той или иной стране или группе стран (*в контексте европейских литератур*). Широта семантического объема одного из компонентов обусловила, таким образом, возможность исполь-

зовать понятие *контекст* в литературоведческом анализе, что отразилось на расширении его сочетаемости.

Спустя более 100 лет после первой фиксации, в Словаре Ушакова слово *контекст* снабжается пометой *филол.* — прямым указанием на сферу его бытования, понимаемую как филология вообще, хотя в распоряжении словаря имеются и отраслевые лексикографические пометы *лингв.* (лингвистика) и *лит.* (литературоведение). Таким образом, термин *контекст* из лингвистики распространяется на более широкую область гуманитарных знаний — филологию, становится членом ее терминологической системы.

Дальнейшее движение данной лексической единицы к употреблению, уже не связанному с терминосистемами, представляется естественным. Последнее переработанное и дополненное издание Словаря Ожегова, как, впрочем, и предыдущие его издания, фиксирует принадлежность слова *контекст* одной из функциональных сфер языка — книжной: оно помечено *книжн.*, что означает «слово характерно для письменного, книжного изложения». Следует отметить, что среди стилистических помет этого словаря есть и помета *спец.*, указывающая на «принадлежность слова к определенному кругу профессионального (научного, технического и т. п.) употребления». Ею отмечены, например, слова *коммуникация*, *компост*, *кондиция*, *консоль*, *консонанс*, *константа*, *контрагент*, *контрибуция*, *конфигурация* и др. Слово же *контекст* в концепции Словаря Ожегова помещается в ряд слов, не относящихся к сфере профессионального терминопотребления, таких, как *компетенция*, *компиляция*, *комплексия*, *компонент*, *консерватизм*, *консистенция*, *констатировать*, *концепция* и др. В то же время использование их в литературном языке имеет ясно осознаваемые носителями языка стилистические границы, обозначению которых и служит помета *книжн.*

В свою очередь, Малый академический словарь в 4-х томах вообще никак не характеризует данное слово в отношении сферы его употребления. Отсутствие пометы — значимый показатель отнесения лексической единицы к общелитературному языку и стилистически не ограниченного функционирования в нем.

Несмотря на различия в стилистических квалификациях, данные двух наиболее авторитетных русских словарей говорят об одном и том же — о стилистически значимом смещении в оценке слова *контекст* и его переходе из терминологической системы в общенародный язык.

В этом плане судьба слова *контекст* не уникальна и должна быть рассмотрена в русле общего процесса детерминологизации, вхождения терминов в новую для них стилистическую среду. Переход лексики из узкоспециальных сфер в общее употребление,

характерный и для современного этапа развития языка,— один из известных путей пополнения его словарного состава. В различные периоды в литературный язык проникали термины разных наук. Так, в середине XIX века это были термины математики, механики, астрономии, физики, биологии и медицины, в наше время это прежде всего термины физики, биологии, теории информации, космонавтики. Специальные слова претерпевают при этом определенные семантические изменения. В частности, по мнению Л. А. Капанадзе, они нередко проходят стадию образно-переносного употребления и лишь потом приобретают новое, переносное значение.

Подобные семантические преобразования коснулись, например, следующих терминов, которые в общезыковых словарях имеют помету *спец.* или какие-либо отраслевые пометы (*физ.*, *тех.*, *мат.*, *муз.*, *геол.* и проч.), а в справочнике «Новые слова и значения» и в «Проекте Словаря новых слов русского языка» Н. З. Котеловой трактуются как слова, приобретшие переносное употребление: *алгоритм, биотоки, вакуум, девальвация, диапазон, детонатор, коррозия, коэффициент* (полезного действия), *кондиция, пакет* (проблем), *параметр, экватор, эпицентр, эрозия* и др. К ним здесь причисляется и слово *контекст*. Такова же судьба слов, не имеющих в словарях каких-либо стилистических ограничителей, но по сути аналогичных приведенным выше в силу отчетливости их специального колорита, например: *вирус, диагноз, десант, допинг, климат, микроклимат, плацдарм, полигон, финиш* и др.

На фоне многочисленных терминов технических и естественных наук, широким потоком вливающих в литературный язык, слово *контекст* выступает как полномочный представитель гуманитарной науки — филологии, до сих пор практически не «поставлявшей» лексические средства в общелитературный словарный фонд.

Появление у лексики нового словесного окружения рассматривается исследователями языка в качестве надежного признака совершившихся в ней смысловых преобразований. В наше время для носителей языка привычным стало употребление слова *контекст* в сочетаниях *контекст исторического момента, современных взглядов, современности, общественно-социальных процессов; в контексте событий, реальной ситуации, отношений СССР и США, поисков нового; архитектурный контекст, социальный контекст* и даже *в общеполитическом контексте* (в устном выступлении). Значение слова *контекст* в таком словесном окружении можно определить как «некоторое целое, единство чего-л. (обстоятельств, явлений или представлений)».

Происходящее в слове *контекст* семантическое преобразование имеет тенденцию к дальнейшему развитию, что проявляется в постепенной фразеологизации предложно-падежного сочетания *в контексте чего* с закреплением самостоятельного значения «принимая во внимание что-л., учитывая какие-л. обстоятельства». По своей активности в литературном языке эта структура значительно превосходит употребление слова вне пределов такого сочетания или в сочетании с простым определением. Конструкция *в контексте чего* одинаково частотна и в составе предложения, и в составе заголовка. В последнем случае она уже становится газетно-публицистическим штампом. Вот некоторые иллюстрации: «Архитектура в контексте культуры», «В контексте истории», «В контексте времени», «В контексте театра» и т. д.

Приобретение сочетанием *в контексте чего* качества устойчивости, воспроизводимости в речи весьма существенно для слова *контекст* потому, что собственно терминологическое его употребление не требует какого-либо распространения. Типичны выражения *значение слова понятно только в контексте; из контекста видно, что...* и т. п. В общелитературном языке употребление слова *контекст* уже не мыслится без определителя (в форме простого определения или придаточного определительного) или распространителя в родительном падеже, т. е. при переосмыслении это слово приобретает обязательную синтаксическую связь. А это обстоятельство служит фактом, подтверждающим образование у слова *контекст* нового значения, которое имеет основание быть представленным в толковых словарях современного русского языка.



Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Это слово вошло в широкий обиход с легкой руки Александра Солженицына. Читатели «Нового мира», открыв одиннадцатый номер за 1962 год, уже на одной из первых страниц повести «Один день Ивана Денисовича» встретились с этим словом: «Скрипя валенками по снегу, быстро пробежали ээки по своим делам... У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть». Смысл слова был ясен из контекста — это заключенные. Но почему *ээки*? Как образовано слово, каково происхождение его корня?

Зек (*зэк*) имеет своим предком графическое косолинейное сокращение — *з/к*, возникшее в тюремно-лагерном делопроизводстве. И здесь следует ненадолго остановиться на графических сокращениях вообще, на косолинейных в особенности.

В русской письменной речи представлены два типа сокращений: графические (они существуют только на письме, только в графическом облике, лишь начертательно) и неграфические (их еще называют лексическими, они произносятся, т. е. существуют и в устной речи: *вуз*, *МХАТ*, *зарплата*, *противогаз*). Предложенная В. З. Санниковым (в статье «О русских графических сокращениях» в сб. «О современной русской орфографии», М., 1964) терминология называет такие виды графических сокращений: точечные (в.— век, вв.— века, напр.— например, м. п.— место печати), дефисные (биб-ка — библиотека, гр-н — гражданин, з-д — завод, р-н — район), курсивные (*г* — грамм, *дм* — дециметр, *в* — вольт), нулевые (*г* — грамм, *кг* — килограмм, *м* — метр), косолинейные (В. З. Санников отмечает, что они «употребляются при сокращении словосочетаний или (редко) сложных слов»: б/ц — без цены, в/с — высший сорт, к/т — кинотеатр, о/м — отделение

милиции, п/я — почтовый ящик, п/о — почтовое отделение, а/я — абонентный ящик, х/б — хлопчатобумажный), комбинированные, курсивно-точечные (1° пл. — температура плавления); дефисно-точечные (ж.-д. — железнодорожный); курсивно-косолинейные (ц/га — центнеров с гектара); точечно-косолинейные (об/мин. — оборотов в минуту).

Обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, все косолинейные сокращения из известных мне подтверждают наблюдение В. З. Санникова: они применяются для сокращенной передачи на письме словосочетаний или (реже) сложных слов. Но, как видим, есть исключение — з/к. Во-вторых, все косолинейные сокращения служат сокращенной передаче обозначений неодушевленных предметов. Исключение — это опять-таки з/к, а также б/п (беспартийный).

В. З. Санников замечает, что графическое сокращение «возникает всегда как знак знака, метазнак и соотносится не с понятием, а с „полным словом“ < ... > Однако в дальнейшем, по мере того как оно становится узуальным [т. е. общепринятым. — Э. Х.], оно превращается из метазнака, из „намека“ на знак в особый знак, непосредственно соотносящийся с понятием. Такие общеупотребительные сокращения, как стр. (страница), кг (килограмм), читающий, вероятно, соотносит не с полными словами, а непосредственно с соответствующими понятиями <...>. В целом графическое сокращение — это, так сказать, метазнак, стремящийся стать знаком».

В разговорной шутливой речи и в просторечии встречается озвучивание двух косолинейных сокращений: х/б и б/у (*хабэ, бэу*). Получающиеся звуковые комплексы есть не что иное, как названия букв *х, б, у*. А названия букв — это несклоняемые существительные. И потому, строго говоря, *хабэ, бэу* — это словосочетания, как, впрочем, и шутивно-насмешливое *цэу* (ценное указание), которое, правда, не озвучивает не только никакого графического (ни точечного, ни косолинейного), но и никакого лексического, письменно закрепленного сокращения (оно без подсказки письма возникло в самой устной речи и как ее воспроизведение попадает в письменную).

Вернемся к з/к. Вероятно, в устно-разговорной речи, а может быть, и в жаргонной (не исключено, что сперва у надзирающих за заключенными) появилось сначала озвученное сокращение *зэка* (ср. *хабэ*). След существования такого звукового комплекса запечатлен в «Словаре воровского языка: слова, выражения, татуировки, жесты» (Тюмень, 1991): *зек(а)*.

Часто употребляясь, становясь общепринятым в неофициальном общении в тюремно-лагерной жизни, обозначая лицо, звуковой

комплекс *зэка* (строго говоря, представляющий собой словосочетание, состоящее из названий двух букв), видимо, был не совсем удобен для общения: не склонялся, не имел формы множественного числа (*нет зэка* — одного, двух — скольких?). Происходит трансформация словосочетания в слово посредством утраты (опущения) части названия второй буквы, получается *зэк*. И возникает не только новое слово, но и новый корень. От него возможно образование прилагательных: *зэков*, *зэковский*. От него может быть образовано и существительное жен. рода: *зэчка* (ср. *рыбак* — *рыбачка*, *моряк* — *морячка*).

Существуют два варианта написания этого слова. Например, А. Солженицын пишет только *зэк*, *зэки*. Чаше встречается другой вариант: *зек*. Какие это варианты — чисто орфографические или фонематические (орфоэпические, произносительные)? Мне не приходилось слышать произношения слова *зек* с мягкой фонемой — *з'*.

В толковые словари русского языка это слово пока не попало. В 6-м, исправленном и дополненном издании «Словаря русских синонимов» (М., 1989) З. Е. Александровой находим: «Заклученный, арестованный; *зэк* (нов. прост.); арестант, острожный, острожник, колодник (устар.); узник, невольник (устар. и trad.— поэт.)». В 5-м, исправленном и дополненном издании «Орфоэпического словаря русского языка» (М., 1989) С. Н. Боруновой, В. Л. Воронцовой, Н. А. Еськовой: *зэк*, -а, мн. -и — -ов [зэ]. Включение слова *зэк* в новое издание этого словаря отражает мнение составителей, что оно вышло за пределы просторечия и вошло в литературный язык. Да, это слово мы встречаем в разговорной, литературной речи, в публицистике. Конечно, у него есть функционально-стилевые ограничения: оно не употребляется в научной речи и в официально-деловой.

Принял на свои страницы *зек* и «Орфографический словарь русского языка» в новом, 29-м исправленном и дополненном издании (М., 1991). Там предлагается писать *зек*. Орфографический вариант *зэк* ближе к началу истории этого слова. И он не позволит читателю, не слышавшему его, произнести слово с мягкой фонемой — *з'*, т. е. *з'ек*, и не введет в соблазн считать это слово родственником просторечного *зекать* (смотреть), т. е. уберезет от явления, называемого народной, или ложной, этимологией.

«ИВАНОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ»

Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук

Русский язык знает фразеологические и поговорочные сочтения, в состав которых входит личное имя или его ближайшее производное — притяжательное прилагательное: *Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана; Иваны, не помнящие родства; на Маланьину свадьбу; Ваньку (из себя) строить; Митькой звали; по Сеньке (и) шапка; Федот, да не тот* и др. Некоторые народные названия растений также содержат в своем составе личные имена или их производные: *Иван-да-Марья, Анютины глазки, Иван-чай* и др. Но оборот, о котором идет речь, — уникальный: в нем не имена, а фамилии, обыкновенные русские фамилии — и ничего кроме них. Этот удивительный фразеологизм — *Иванов, Петров, Сидоров*.

Известно, что фразеологический оборот как единица языка строится на постоянстве его компонентной структуры, объединенный понятийно. Это единство понятия и синтаксической структуры настолько закреплено в нашем сознании, что даже возможная вариантность компонентов и порядок их развертывания в речи не разрушают фразеологизма как языковой единицы.

Все это относится и к нашей «фамильной» идиоме, в которой (и это тоже ее особенность) компоненты подаются просто перечислительно. Но эта перечислительность не является жестко закрепленной. Встречается обратный порядок фамилий: «Рассудим здраво. Сидоров, Петров, Иванов получают приватизационный чек» (Правда. 1992. 27 авг.). Эти фамилии можно «распылить» и перемешать в тексте: «Мы меняем бюрократа Иванова на Сидорова и с изумлением отмечаем, что ничего не изменилось. Меняем Сидорова на Петрова — становится еще хуже» (Лит. газета. 1988. № 29). Можно к каноническим фамилиям добавлять новые, мешая реальное с вымышленным: «Дело не в том или ином человеке конкретно. Был бы это Горбачев, Сидоров, Петров, Гаврилов — не в этом дело» (Правда. 1987. 8 авг.). Возможно даже «урезать» фразеологизм, пряча его в тексте: «Это жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову?» (В. Панова. Спутники); «Допустим, вы — механик Петров, в подчинении ко-

торого находится слесарь Сидоров» (Вечерний Ленинград. 1972. 27 апр.). Можно дать фамилии и во множественном числе: «У Ивановых [телевизор] переключается, у Петровых переключается, а у нас нет» (Известия. 1980. 21 сент.).

Наконец, вместо обычной обоймы фамилий в их функции могут фигурировать другие фамилии, но обязательно — массового распространения: «В очерках же нужно типизировать героя, не писать прямой портрет Иванова, Николаева, Петухова...» (М. Горький. Беседа с писателями-ударниками). Но это не меняет ситуации: господствуют, конечно, канонические три фамилии и их канонический порядок: «Окажись на месте Сухорукова Иванов, Петров или Сидоров, все было бы довольно просто» (А. Безуглов и Ю. Кларов. Покушение//Октябрь. 1973. № 2).

Что же позволяет свободно манипулировать идиомой? Разумеется, ее устойчивое, неразрушаемое в любой ситуации значение. Отдельно Иванов, Петров или Сидоров — это условный обобщенный человек, кто-то из нас с вами, любой из нас. Обычность «наших» фамилий подчеркивает нашу типичность. Вместе Иванов, Петров, Сидоров — какие-то люди (мы с вами), которых объединяет поведенческая схожесть. Эти три фамилии в совокупности — своего рода эвфемизм: вместо конкретных лиц упоминаются некие выдуманные персонажи, олицетворяющие нас, наше поведение в той или иной ситуации.

В ряде языков для обозначения рядового, типического члена общества, человека из народа, берется какая-либо из наиболее распространенных фамилий — она и наполняется обобщающим смыслом, персонифицируется: у поляков это (пан) Ковальский, у французов — (месье) Дюпон, у корейцев — Ким (не потому ли, шутят корейцы, подброшенный в небо камень обязательно упадет на Кима?). У русских это, разумеется, Иванов: «В столице живет свыше 120 000 Кузнецовых... Больше только Ивановых» (Лит. газета. 1991. № 42).

Именно она, фамилия Иванов, некогда начала употребляться в переносно-обобщающем значении «некий типизированный человек из (русского) народа» (М. Салтыков-Щедрин: «Когда раздается клич, из нор выползают те Ивановы, которые нужны») — вслед за исконной массовостью имени Иван («В Петербурге на 14-й линии Васильевского острова был младший дворник Иван — имя-то какое, стомиллионных!» А. Ремизов. Учитель музыки; «Иванов — что грибов поганых». В. Даль. Пословицы русского народа).

Цели типизации этого явления служит и удвоение, «утроение» имени Иван через его производные: «Ей-богу, это не я писал, это любезный сердцу моему Иван Иванович Иванов насочинял. И вообще — премного во мне сидит Ивана Ивановича, черт его возьми!» (М. Горький — К. П. Пятницкому, май 1902).

Таким образом, «коренником» при формировании трехчленного фразеологизма *Иванов, Петров, Сидоров* по праву выступила фамилия *Иванов* (Н. Лесков — о пьесе А. Чехова «Иванов»: «Учительная пьеса... И само название, обобщающее, родовое...»). Но если фамилия *Иванов* в этот «фамильный» фразеологический оборот вписалась «законно», то появление в нем фамилий *Петров* и *Сидоров* вроде бы менее ожидаемо.

Фамилия *Петров* у нас — также одна из самых распространенных и тоже — вслед за прежней массовостью имени *Петр* (недаром: *Иван кивает на Петра...*). Когда фразеологизм *Иванов, Петров, Сидоров* подается в сокращенном виде (*Иванов* — обязательно, а *Петров* или *Сидоров* — по выбору), на втором месте по употребительности (после фамилии *Иванов*) почти обязательно появляется *Петров*: «В цех итоги борьбы доносятся в виде лаконичного и безапелляционного решения — победил *Петров*, а не *Иванов*. Почему? Какие шансы все-таки были у *Иванова*?» (Комс. правда. 1970. 20 окт.); «Армия живет по еще никем не отмененному закону под названием единоначалие. И никакой *Иванов, Петров...* не вправе давать указания военным» (Известия. 1993. 7 окт.).

То же относится к массовой фамилии *Сидоров* («Бывают же фамилии Без разных глупых слов: Ну, скажем, просто *Сидоров*». С. Михалков. Финтифлюшкин) и имени *Сидор*, отложившемся в старинных поговорках: *Сидорова правда да Шемякин суд* (В. Даль. Пословицы русского народа); *Драть, как сидорову козу*.

Возникает вопрос, почему же в полную идиому канонически включаются три — не две, не четыре и более — фамилии? Во фразеологии ответов на такие вопросы нет. Видимо, здесь сработало чувство языковой меры. Обращает на себя внимание то, что среди этих фамилий — ни одной на *-ин* (типа *Фомин* — фамилии тоже распространенной и тоже отыменной). Надо полагать, это также не случайно: чувствуется подчиненность идее одинаковости, подобности. Не исключено и требование ритмичности и эвфонии.

То, что устойчивое именное словосочетание с переносным смыслом *Иванов, Петров, Сидоров* до сих пор не закреплено лексикографически, объясняется, надо думать, его необычностью, нетрадиционностью, его широкой структурной вариативностью, его легкой вписываемостью в тексты. По-видимому, еще не осознано, что *Иванов, Петров, Сидоров* — не простое, хотя и устойчивое, соединение неких трех фамилий: из них исподволь сложилась новая фразеологическая единица языка. Ее место — в толковых словарях языковой современности.

Речевые одежды Москвы *

*М. В. КИТАЙГОРОДСКАЯ,
кандидат филологических наук
Н. Н. РОЗАНОВА,
кандидат филологических наук*

Время, в которое мы живем,— это время коренных политических и социально-экономических перемен, время разрушения старых и формирования новых стереотипов поведения. На наших глазах меняется структура и характер городского общения. Улица заговорила. Мы стали больше разговаривать друг с другом в транспорте, магазинах, на рынках и митингах. Можно сказать, что для современного города характерно расширение сферы контактов между незнакомыми людьми.

Общими тенденциями в изменении характера городской коммуникации являются следующие:

- усиление диалогизации устного городского общения;
- усиление личностного начала;
- возрождение «карнавальн^{ой}» стихии в жизни города.

Рассмотрим действие этих тенденций в разных сферах и жанрах современной московской речи.

Приметы «карнавала» в языке города

Известно, что коренные социальные изменения в жизни общества способствуют более яркому проявлению карнавального начала и сопровождаются переодеваниями как в прямом, так и в переносном смысле (ср. время реформ Петра I, период революций 1905—1917 гг.). Вспомним хотя бы ситуацию в русской литературе начала века, когда поиск индивидуальности для многих поэтов сопровождался поиском образа, маски, придумыванием «гениальной внешности» (напр., Игорь Северянин, Бальмонт, Маяковский). Маскарадность приемов характерна для современного литературного авангарда.

В наши дни карнавализация проникает и в сферу политической жизни. Над созданием образа (или, как модно теперь говорить,

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. № 2.

имиджа) политического лидера работают профессиональные психологи, политологи (см., например, публикацию в газете «Комсомольская правда» от 23.10.93 «Женщина? В очках? С бородой? В президенты? Не-е-е-е!»). Политический маскарад неискушенной публикой часто принимается «за чистую монету», что может иметь небезобидные социальные последствия. Это наглядно подтвердили результаты последних выборов. На них, бесспорно, повлиял удачный выбор «маски» лидера ЛДПР с четко прорисованной моделью речевого поведения.

Тенденция к карнавализации захватывает также сферу языка. Наше время характеризуется сменой «речевых одежд». Ср., например, многочисленные переименования различных госучреждений: министерство — *департамент*; школа — *лицей, гимназия, колледж*; контора — *офис* и мн. др. Эти же процессы, как мы отмечали в первой статье, переносятся и на пространство города, что проявляется в возвращении названий, восстанавливающих старую речевую географию города: *Остоженка, Поварская, Никольская* и мн. др.

Некоторые участки городского пространства приобретают характер своеобразного *культурного контекста*, вызывающего исторические или литературные ассоциации. Ср., например, название кафе в Лефортово «Анна Монс». Район Патриарших прудов и прилегающих улиц все теснее связывается с героями знаменитого романа М. Булгакова (кафе «Маргарита», магазин «Бегемот»). Пространство города заселяется различными масками, персонажами, чьи имена тесно связаны с Москвой. Это раскрепощает карнавальную стихию городской жизни. Материальное воплощение данная тенденция получила в ставших уже традиционными булгаковских карнавалах на Патриарших прудах.

Следует заметить, что социально-историческая информация, отражающая реальную жизнь города, сохраняется не только (и не столько) в письменных жанрах городской речи (официальные названия улиц, вывески, объявления и др.). Историческая память хранится в «запасниках» устной речи. Город помнит все, что с ним происходило. Это отражается прежде всего в неофициальных устных наименованиях.

У каждого из нас есть своя микротопонимика детства, специфические названия районов, домов, разных городских реалий. Нередко такие номинации фиксируют информацию, которая не нашла отражения в специальной социологической и демографической литературе. Например, жилые кварталы в районе Хорошевского шоссе и метро «Первомайская», которые в послевоенные годы строили немецкие пленные, получили название *немецкая слобода*; в связи с проводившимся ведомственным жилищным

строительством возникают номинации жилых кварталов или домов по социальной принадлежности их жителей — *полковничьи выселки*; ср. также метафорические ироничные названия домов для партийно-государственной номенклатуры в районе Рублевского шоссе — *царское село*.

Персонификация как мотив городских номинаций

Массовое обыденное сознание привычно (и не всегда объективно) соотносит те или иные явления общественной жизни с конкретными политическими деятелями. *Персонификация* некоторых: социально-экономических процессов — один из частых мотивов городских микродиалогов. Ср. следующие примеры:

(Записано в мае 1991 г. в парфюмерном магазине. Покупательница А. покупает крем. П.— продавщица) А. Мне две «Магии» и два «Зодиака». П. Только три в одни руки. А. Но мне нужно четыре. П. Это вы к Попову (бывший мэр Москвы) обращайтесь!

(Записано в ноябре 1992 г. В переполненном троллейбусе мужчина М. обращается к приятелю) М. Что-то они ходят плохо! Совсем транспорт не работает. Ну, дожدهшься, Лужков! (мэр Москвы).

Тенденция к персонификации связана с проявлением **личностного фактора**. В языке она воплощается в виде определенных номинативных моделей, когда в качестве мотивирующей базы выступает имя собственное, например: (записано в октябре 1992 г. после очередного повышения цен на хлеб. Пожилой мужчина обращается к продавщице) Дай-ка мне вот эти булочки, *гайдаровские* (Егор Гайдар был в это время премьер-министром).

Актуальные для современной жизни явления мгновенно получают имя их «автора». Например, 5-процентный налог с продажи, введенный в 1991 году, назывался *президентским, горбачевским* налогом. Обмен денежных купюр получил отражение в разговорной речи в виде словосочетаний *павловская реформа, павловские деньги*.

Языковые процессы такого рода всегда были характерны для периодов социальных изменений. Социальные сдвиги как бы провоцируют, активизируют распространение данных номинативных моделей. Ср. например: *сталинская реформа, сталинские галстуки, керенки* (от Керенский), *хрущобы* (от Хрущев, ср. *трущобы*), *андроповка* (дешевая водка, продававшаяся при Андропове).

В этом явлении обнаруживается конкретный, неабстрагированный характер мышления человека, типичный для сферы неофициального обыденного общения. Подобные номинации основаны на принципе метонимии (хотя в реальной жизни смежность сопоставляемых явлений, конечно же, достаточно условна).

Устная реклама, зазывы, объявления

В последние годы заметно изменился стиль московских объявлений. Вместо безадресных извещений типа «Меняю двухкомнатную квартиру на две однокомнатные» или «Продаются щенки афганской борзой» все чаще можно встретить объявления с использованием разных речевых форм обращения, привлечения внимания, зазывов. Таких, например: «У Вас есть желание поработать за рубежом? Если да, то мы можем предоставить этот шанс!» или «Холодно? Тогда сделайте себе подарок и купите оренбургский пуховый платок! Только на этой неделе цены снижены на 15 процентов». Вместо так хорошо знакомых сурово-запрещающих объявлений типа «Руками не трогать!» появляются шуточные: «Потрогать — 10 рублей. Посмотреть — бесплатно». В обувной мастерской над служебным входом, где привычна табличка «Посторонним вход воспрещен», висит шуточное объявление: «Не входи — убьет!»

Неофициальная игровая стихия, ломающая барьеры «своего/чужого» пространства, врывается в традиционно монологические ситуации городского общения, например устные объявления в метро: (записано на ст. м. «Белорусская», где часто дежурит знакомый многим москвичам работник метрополитена, шуточно прозванный местными жителями «Кашеич») Товарищи! Сейчас будет пущена машина. Держитесь за поручень! Полный вперед! Гвардейцы вперед! (пассажиры смеются).

Речевая жизнь современной Москвы характеризуется возвращением многих старых, забытых жанров — устной рекламы, зазывов, выкриков, острословиц. Все чаще мы слышим на улицах голоса торговцев, расхваливающих свой товар. Вот женщина торгует с лотка горячими сырными пирогами:

— Пицца! Пицца горячая! Все ко мне на завтрак и обед! Пицца горячая, вкусная!

А вот молодой человек предлагает печатную продукцию:

— Новый интересный гороскоп по именам! Можно купить, а можно просто посмотреть! Пожалуйста, сударыня! Всего за три рубля! (приятно услышать это вновь: «сударыня»...)

Сегодняшняя ситуация так напоминает начало века. Подобное же «зоологическое время», «пестромигающие, ярмарочные, оружие дни» (по меткому выражению Саши Черного) переживаем и мы.

Еще В. О. Ключевский отмечал, что торговля московских купцов и в старые времена во многом носила характер игры. Игровая скоморошья стихия особенно чувствовалась в рекламных зазывах, описанных В. А. Гиляровским, Евг. Ивановым и другими исследователями московской старины. В скоморошьях зазывах

широко применялся прием рифмовки. Например, у того же Евг. Иванова находим замечательные образцы речи карточных шулеров: «Не жулики мы и не плуты, а карточные банкроты! Сами проиграем и других спутаём. Играем на петлю и ремешок и на три счастливые карты!»

Те же приемы языковой игры наблюдаем в речи современных «наперсточников», картежников и игроков в азартное лото (оставляем в стороне криминальную суть их деятельности. Это должно интересовать профессионалов из соответствующих ведомств. Наш же интерес обращен к речевым приемам привлечения внимания, восходящим к старомосковским народным традициям). Вот такой текст записан за «наперсточником» на маленьком «пятакке» напротив военторга: «Это Саша, это Маша, а вот беременная Наташа. Я за нее плачу, за две пусто я с вас получу!». А это образец речи карточного шулера: «Для убеждения ваших глаз, показываю еще раз! Две красные проигрывают — черные выигрывают. Три движения — ваше зрение. Веселей играем, карту выбираем!»

А вот увлекает и веселит толпу зазывала-ведущий игры в лото: — Мы начинаем новую игру! Любимая игра Аллы Пугачевой и Раисы Горбачевой! Берем жетончики, получаем червончики! Не отходим, а подходим! Не стесняемся, а оформляемся. На кону семьдесят пять рублей — на покупку новых «Жигулей»!;— Финское лото, не проигрывает никто! Ставишь шляпу — покупаешь пальто!;— Граждане налетчики, лихие пулеметчики! Налетайте, покупайте! Если вы думаете, что это обман — полезайте к себе в карман, доставайте червончики, покупайте жетончики!

Из воспоминаний о старой Москве мы узнаем об уличных торговцах-говорунах, среди которых особенно выделялись продавцы газет и других печатных изданий. В книге Евг. Иванова приводится, например, такой забавный текст: «Последние новости дня. „Вечернее время“. Хроника. Негус абиссинский купил апельсин мессинский, зонтик от дождика, два перочинных ножа! Португалия готовится к войне, Япония в дыме и огне! Как в Африке пушками сражаются с лягушками, как земля кружится, как кто с кем дружится, как шах персидский шел по улице Мясницкой. Как и почему у Фердинанда нос длинный прирос!»

А вот современный зазывала-«газетчик»:

— Опасные гастроли советских проституток! Полюбил Наташу инопланетянин! Был ли Борман агентом КГБ?

Или еще забавные примеры из письменной рекламы газет на переходе в метро: «Жертва Кашпировского. Потрясающая история исцеления на основе абсолютного закона природы. Sex в Китае. Дао любви. Исцеление заговорами».

Еще в шестидесятые годы нашего времени появлялись в

Москве зазывалы-торговцы, как бы «привязанные» к определенному городскому району. Например, в скверике возле старого здания Университета (студенты прозвали это место «психодромом») многие годы появлялась торговка цветами, которая выкрикивала: «Фия-а-лки! Купите свежие фия-а-лки!» А многие москвичи наверняка помнят, как в колодцах их дворов звучали знакомые выкрики: «Старье-о бере-ом!» или «Точить ножи-ножницы!» Ушли в прошлое старьевщики и булочницы, молочницы и точильщики...

«Мелкий сор повседневной жизни»

Как мы уже отмечали, для современного города характерно расширение контактов между незнакомыми людьми. Можно сказать, что в последние годы общение на улице все чаще приобретает характер активного диалога.

Одним из типичных и распространенных жанров, богато представленных в современном устном общении, является жанр *микродиалога*. Отметим, что именно микродиалоги обладают особой социо-культурной значимостью. Записи, фиксирующие, выражаясь словами Марка Харитонов, «мелкий сор повседневной жизни», представляют языковое существование города. На историческую ценность подобных материалов, особенно тех, которые отражают «минуты роковые» жизни общества, обращала внимание Лидия Гинзбург. В блокадном Ленинграде она записывала обычные житейские разговоры в различных повседневных ситуациях («Учреждение», «Столовая», «Домашние беседы» и т. п.). На фоне сурового исторического контекста достоверность и обыденность подобных свидетельств особенно потрясает читателя (см. Л. Гинзбург. Претворение опыта. Л., 1991).

Записи микродиалогов нашего времени также ценны и интересны, т. к. фиксируют «летучую», быстро меняющуюся историческую реальность. Многие микродиалоги времени товарного дефицита, времени визиток и талонов сейчас кажутся такими далекими, не всегда понятными, даже абсурдными. Вспомним некоторые из них:

(из разговора двух женщин в очереди в овощном магазине)
В. Господи, думаю, много ли я беру (картошки)? А потом подумала, нет. А вдруг ее сейчас вообще нет, не будет? Сейчас два часа стояли, там, в овощном... в этом... в «Диете». Подсолнечное масло... Б. О господи! В. Было. На визитку один литр. Вот мы с мужем там простояли. Я говорю: «Ты иди домой, а я побегу, раз картошки нет, за картошкой».

(Мужчина в табачном киоске покупает по талонам сигареты. Стоящий за ним в очереди покупатель шутливо комментирует)

А. Всё: без сахара остался! (т. к. сигареты за сентябрь 1990 г. продавали по декабрьским талонам на сахар).

(У пустых прилавков гастрономического отдела; покупатель А. обращается к скучающему продавцу) А. Запахом торгуете? Б. Угу. (смеется).

(Один из покупателей в дверях продовольственного отдела обращается к другим покупателям) А. Не ходите: нет ничего. Свято место, а пусто.

(Магазин «Колбасы». В витрине лежат шоколадки «Сказки Пушкина». Покупатель А. обращается к продавцу П.) А. А что? Шоколадки из мяса? П. Угу. (смеется). Б. (другой покупатель, подхватывает) Мясо кончилось — остались одни сказки.

Напомним распространившееся в те годы слово *визитка*, образованное на базе словосочетания *визитная карточка покупателя*, которое в языковом сознании особенно младшего поколения потеснило тогда прежнее значение слова «визитная карточка». Приведем забавный диалог матери с 10-летней дочерью. Мать рассказывает дочери о том, как в прежние времена, нанося визиты знакомым и не застав их дома, воспитанные светские люди оставляли свою визитку (визитную карточку).— «Ой! — ужасается юная москвичка.— А как же он, бедный, без визитки в магазин потом пойдет?»

Характерной особенностью нашего времени является активное вторжение в бытовую повседневную речь экономической и политической терминологии. Нередко это сопровождается процессом деидеологизации и освобождением структуры слова от отрицательных оценочных компонентов. Ср., например, такие слова, как *предприниматель*, *бизнес*, *бизнесмен*, *рынок*.

Если раньше область употребления подобного рода лексики замыкалась сферой официального профессионального общения, то теперь, можно сказать, экономические проблемы вошли в каждый дом. Объективные изменения, происходящие в обществе, приводят к тому, что в активный словарный запас попадают терминологические по своему характеру слова: *приватизация*, *ваучер*, *вексель*, *биржа*, *брокер* и т. п. Ср.: Вы квартиру-то *приватизировали*?; Мы вчера *ваучеры* получили. Что с ними делать-то?

Иногда в обыденной речи освоение политической и экономической лексики сопровождается ее шутивым обыгрыванием. Приведем примеры.

Двое мужчин собираются распить бутылку вина «на троих», уговаривают третьего. Вместо стереотипного в такой ситуации вопроса «Третьим будешь?» один из собеседников произносит: «Николай, без тебя *кворума* нет», шутиливо переосмысливая известное парламентское выражение «кворум есть»/«кворума нет».

Еще пример из разговора двух приятельниц А. и Б.:

А. Моя Анюта (дочь) договорилась с одной девочкой. Та с ней будет заниматься английским, а Анька с ней французским. И мне хорошо: денег платить не надо. Экономия! Б. Ну да, *бартер* в общем у них. А. (смеется) Да, да, *бартер*, точно.

Из разговора гостя с хозяином дома:

А. Попугайчик у вас симпатичный. Анютка (дочь) говорит — ты его *Ваучером* назвал? Б. Ага. Летает, пищит, а толку от него никакого. Как от *ваучера*.

Фиксация повседневной устной речи особенно актуальна, потому что в наше время утрачена традиция ведения дневников, связанная во многом с потерей ощущения себя в контексте исторического времени. Это ощущение было свойственно нашим предкам. Свидетельством тому может служить такой, например, небольшой фрагмент из рассказа В. Ф. Одоевского: «Вспомня обещание папеньки, я пошла к нему с своим журналом и сказала: „Вы обещали рассказать мне, что такое история“. — История, моя милая, — отвечал он, — есть то, что ты теперь в руках держишь. — „Это мой журнал“. — Да, моя милая, я повторяю, что ты держишь в руках свою историю. — „Как это, папенька?“ — Описание происшествий, чьих бы то ни было, называется историей, и потому-то я сказал тебе, что ты, описывая все, что с тобою случается, пишешь свою историю. Теперь представь себе, что я и твоя маменька, мы тоже пишем журналы, и Вася, когда подрастет, будет то же делать. Если бы соединить все эти журналы, то из них бы составила история нашего семейства» (В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши).

Наше время, реальная повседневная история фиксируется преимущественно в устной форме, «проговаривается» в разных речевых жанрах, прежде всего в микродиалогах.

Функционирование малых жанров городского общения связано с разными типами коммуникативных ситуаций. Некоторые ситуации почти не допускают отклонений от стереотипных моделей общения (например, «Транспорт», «Сберкасса» и др.). Стереотип как типичный жанр городской коммуникации, связанный со сферой общения *незнакомых* людей, предполагает максимальное редуцирование личностного, индивидуального начала. Так, войдя в троллейбус, вы протягиваете абонементный талон стоящему впереди пассажиру и выбираете одну из известных вам речевых формул: *Будьте добры, пройдите, пожалуйста!*; *Вы не пробьете билетик (талончик)?* А выходя из вагона, вы обратитесь к пассажирам, стоящим перед вами: *На следующей выходите?*; *Вы выходите на следующей?*; *На следующей сойдете?* Вы производите эти речевые действия совершенно автоматически,

т. е. не складываете каждый раз заново фразу из отдельных слов, а используете готовые речевые клише, закреплённые за данной речевой ситуацией. И миллионы людей в городе говорят точно так же. Стереотипная ситуация порождает и речевые стереотипы.

Однако в жизни города можно выделить ряд коммуникативных сфер, допускающих проявление речевой индивидуальности. К ним относятся прежде всего «Очередь» и «Рынок». Эти коммуникативные сферы представляют собой своего рода жанровый континуум. Так, в «Очереди» наряду с обязательным жанром — стереотипами покупки, а также речевыми клише, типичными для данной ситуации («Кто последний?»; «Я отойду на минуточку» и т. п.) — могут присутствовать и более свободные жанры: разговоры, диалоги. Темы их достаточно типичны: о покупках («кто?», «что?», «где?», «когда?», «сколько стоит?»); обсуждение товара, имеющегося в магазине («Картошка вся гнилая», «Яблоки хорошие» и т. п.); уточнение того, кто за кем стоит в очереди («В красном платке не за вами стояла?», «За мной мужчина стоял, он отошел»); беспокойство, хватит ли товара на всех («Торты, кажется, кончатся» — «Да нет, там есть еще» — «Вот на нас все и закончится»). Отметим однако, что последняя тема сейчас стала менее актуальной.

Приметой времени является частое включение в разговор между незнакомыми людьми тем, связанных с экономической и политической ситуацией. Но подобные разговоры, более характерные для митингов, в ситуации «Очередь» возникают не спонтанно, а путем тематического «зацепления». Интересен сам процесс включения политических тем в разговор.

Приведем такой пример, записанный нами в сентябре 1993 года. В булочной стоит большая очередь в кассу. А. (пожилая женщина) Ну вот что они столько народу собрали! Поставили бы двух-трех продавцов, пусть бы они деньги брали. А потом бы через кассу провели. Б. (возражает) Так нельзя. По закону запрещено. Я сама видела в магазине, как директора за это оштрафовали. Нельзя по закону. А. (мгновенно реагирует) По закону! Да разве у нас есть законы? Одно беззаконие! Далее начинается активное обсуждение политических проблем, в котором принимает участие сразу несколько человек. Таким образом, слово *закон* явилось своего рода сигналом для тематического переключения разговора.

Показателен еще один небольшой, но очень характерный с точки зрения отражения стереотипов массового обывденного сознания разговор в очереди (записан в декабре 1992 г.): М. (мужчина лет 30-ти) Вот, можно сказать, дожили. И за хлебом очередь. Если дальше так пойдет — придется эту демократию придушить. Ж. (пожилая женщина) Ее теперь ничем не уничтожишь, раньше

можно было, а теперь у нее деньги, войска. М. Ну, на самом деле это не демократия. В демократической стране люди свободные, а мы разве свободные? Это не демократическое правительство. Люди просто хотели коммунистов скинуть, вот и поторопились. Ж. Ну а где же демократическое-то взять? М. Настоящее правительство еще не пришло. Настоящее правительство — это такое, которое о простых людях думают, свою страну любят. А эти всё на Америку смотрят. Я ничего не говорю: Америка очень прекрасная страна. Но мы-то не Америка. Ж. Да, у нас должно быть не так. Чтобы больше души было. Чтобы любовь была.

В последнее время очередей в магазинах становится все меньше. Коммуникативное пространство очереди сужается. При этом мы можем наблюдать расширение пространства иной коммуникативной ситуации — «Рынок». Это связано с появлением частной уличной торговли, вещевых рынков и т. п.

Ситуация покупки на рынке отличается от ситуации покупки в магазине стереотипным вопросом о цене товара («почем?» вместо «сколько стоит?»), формами обращений («хозяин», «хозяйка», возможно обращение на «ты»), набором специфических стереотипных клише, отражающих переговоры о цене товара («Будете брать — уступлю»). Рынок — это та коммуникативная сфера, где часто намеренно преодолевается барьер официальности, реализуется установка на контакт, диалог с конкретным партнером. Эта ситуация допускает (и даже предполагает) иные, более раскованные модели поведения. Приведем в качестве примера такой забавный диалог. «Почем творог?» — спрашивает одна из покупательниц. И, не дождавшись ответа от продавца, занятого с другим покупателем, слегка толкает локтем, надеясь получить ответ от нее. «Двести пятьдесят», — отвечает та, шутиливо толкая в ответ просившую. Обе смеются.

Именно при общении на рынке ярко проявляется установка собеседников на шутку, игру, особенно в момент «переговоров» о цене товара: А. (покупатель) Почем розы? Б. (продавец) Три тыщи. А. (молчит) Б. Две с половиной. А. (опять молчит). Б. Две. Вы меня уговорили.

У Осипа Мандельштама есть точное и яркое описание стихии русского рынка, базара: «Русского человека тянет на базар не только купить и продать, а чтобы вывалиться в народе, дать работу локтям, поневоле отдыхающим в городе, подставить спину под веник брани, божбы и матерщины; он любит торговые петушинные бои и крепкое слово, пущенное вдогонку. В городе говорят лениво. Здесь живая речь — говорок — средство защиты и нападения, — словно ручной хореk шныряет под лавками; базарная речь, как хищный зверек, сверкает маленькими белыми зубками» (О. Мандельштам. Сухаревка).

Проверьте себя



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Н. А. ЕСКОВА,
кандидат филологических наук

1. 1 января 1971 г. в «Известиях» был помещен новогодний фельетон, в котором изображалась такая «грамматическая дискуссия»: «— Так вот,— говорю,— однажды меня назначили тамадой...— Дорогие товарищи! — сказал я, когда пробил мой час.— Среди нас, тамадов...— Хозяйка хихикнула.— Извините,— сказал я,— среди нас, тамад... Тамадей! — выкрикнул один гость.— Тамадьев! — вступил в конкурс веселых и находчивых другой.— Тамадух! — совсем уж не к месту выпалила одна присутствующая дама. ...И я подумал: а почему нет школы подготовки этих... тамад... тамадов... тамадьев... тамадей... Тьфу, напасть! Наверное, потому и нет».

Так как же образовать родительный падеж множественного числа от *тамада*?

2. «Охраняли стоянку нашего знаменитого аэроплана — гиганта „Ильи Муромца“. Впрочем, их не один, а два, но не знаю, как будет родительный падеж, множественное число: „Ильей Муромцев“?» (В. Катаев. Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим).

Как вам кажется: справился Саша Пчелкин с «грамматической задачей»?

3. Приведем несколько цитат. «О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде» (М. Цветаева. Хлыстовки); «Сад у

хлыстовок Кирилловен и их сестер-подруг разросся еще пышнее» (А. Цветаева. Воспоминания); «...по отчеству они все были Николавы. Всех пятерых Николавен поселили в первом этаже дачи Юнгов...» (Н. Чуковский. Коктебель); «Певец хотел вернуться за портьеру, но Ким бросился наперерез: — Что вам написала Вера Степановна? — Я ведь не ведаю никаких Вер Степановных... Степановен! — В голосе певца слышались плачевные нотки» (Ц. Солодарь. Письмо звезде//Огонек. 1975. № 4); «Актриса поднимает своих героинь на пьедестал, так сказать, недоступной чистоты. Она воспекает Прекрасную Даму... и сама создает культ этих хрупко-несгибаемых, этих тонко-нервных, этих чутких и нежных женщин — Валь, Анисий, Настасий Филипповен и прочих, прочих, прочих» (М. Ульянов. Монолог о прекрасной даме [о Юлии Борисовой]//Лит. газета. 1975. 5 марта); «Было много Ниловн на русской сцене» (Н. Крымова. Запись радиопередачи. 1984. 15 сент.); «Это подлинно ленинский стиль, ибо даже когда наше молодое государство было раздираемо гражданской войной, то и тогда Ленин, не обращая внимания на заграничных Марь Алексевн, вел открытую борьбу против внутренней бюрократии, „комчванства“...» (Е. Евтушенко. Право на неоднозначность//Советская культура. 1987. 3 янв.).

Как же должен быть образован родительный падеж множественного числа от женского отчества?

4. «Лишь приехав домой и разбирая свои пометки в записной книжке, куда заношу все даваемое и браемое, увидел я огненный знак „3 р.“. И я спешу их послать Вам с признательностью и настоящими извиненьями» (А. Грин. Письмо И. Касаткину. 1924); «Я везу, везу его на Землю, ласково зовимую Большой» (С. Смирнов. Свидетельствую сам).

Правильно ли образованы страдательные причастия настоящего времени от глаголов *брать* и *звать*?

5. «Тут уж я не выдержал и вмешался в этот разговор. По-вашему, говорю, выходит, что этот ваш бывший сослуживец должен был кинуться в музей за шпагой, а потом, берега... Нет не берега... бережа... И не бережа... Тьфу ты черт, что за слово дурацкое? А потом, говорю, сохраняя сердце от инфаркта, садиться в тюрьму за убийство в драке?» (Фельетон Э. Пархомовского//Известия. 1968).

Так как же образовать деепричастие от глагола *беречь*?

Ответы в конце номера.

Родной язык**Свой — чужой**

*Э. А. ГРИГОРЯН,
кандидат филологических наук*

«Есть много на Руси русских нерусского
происхождения, в душе, однако же, русские»

Н. В. Гоголь. Мертвые души

«Народ, отказывающийся от своего языка,
отказывается от самого себя, а та часть
народа, которая меняет язык, делает тем
самым решительный шаг к смене народной
принадлежности»

Й. Л. Вайсгербер

Под словосочетанием «русский язык» всегда и в первую очередь подразумевается этническая принадлежность языка именно русскому народу и каждому, кто считает себя членом этого сообщества, языкового коллектива. В общепринятом смысле «русский язык» равно «язык русских». И это абсолютно верно.

Два наших эпитафия только на первый взгляд взаимоисключают друг друга. На самом деле речь идет об одном и том же явлении: когда человек или группа людей по каким-то причинам меняет язык (душу) и отказывается от родного языка, переходя (полностью) на другой язык. В словах Лео Вайсгербера эта мысль выражена вполне отчетливо. Речь идет именно о полном отказе от родного языка — явлении достаточно распространенном, но все же встречающемся реже, чем отказ частичный. Последний может иметь разные формы. Чаще всего он вызван сложившейся языковой ситуацией, когда от воли субъекта ничего не зависит, он должен унаследовать сложившуюся языковую традицию. В каком-то смысле индивид перенимает не только родной язык, но все нормы речевого поведения вместе с особенностями языковой ситуации. Значит, наряду с термином «родной язык» можно говорить о родной языковой ситуации или родной языковой жизни. Что же называть частичным отказом от родного языка?

Дело в том, что в этноязыковом восприятии мира каждый человек чисто автоматически приписывает каждому народу один язык, каждому языку — один народ. Такое восприятие имеет реальную почву. Нет людей, не имеющих родного языка. «Входящий в сообщество просто вынужден перенять культурное достояние — язык, поскольку в нем в рамках сообщества действует норма, не дающая ему свободы выбора. Посредством других носителей язык побуждает каждого принять его формы и удерживает в них своего носителя всю его жизнь» (Радченко О. А. Лингвофилософский неоромантизм Й. Л. Вайсгербера // Вопросы языкознания. 1993. № 2. С. 111). Действительно, каждый язык создан и «взлелеян» своим сообществом носителей, которые не только определяют систему и норму языка, но и владеют тем мировосприятием (картиной мира), которое досталось им в наследство от предыдущих поколений и «осело» в языке. Собственно, такая моноэтничность характерна не только для сознания рядовых носителей языка, но и для взглядов многих авторов теоретических работ по языкознанию.

На самом же деле не все языки «остаются» в рамках исконной этнической общности. Некоторые из них (в основном развитые литературные языки) по разным причинам «перешагнули» свои этнические границы. Русский язык относится именно к таким языкам. С этой точки зрения он имеет три поля функционирования: русский язык в исконной этнической среде (как родной), русский язык, функционирующий в неродной этнической среде (неисконная русская речь) и русский язык, функционирующий за рубежом как в исконной этнической среде (язык русской эмиграции), так и в неисконной среде (русский как иностранный).

Остановимся подробнее на втором поле функционирования — русский язык как средство межнационального общения. Длительное использование русского языка в этом качестве, его функционирование в различных регионах (республиках, а также в других государственных формированиях) привело к устойчивому национально-русскому двуязычию. В различных регионах Содружества (бывшего СССР) сложились сообщества людей, которые в той или иной степени двуязычны, т. е. не только знают и владеют, но и используют русский язык в своей общественной, культурной и духовной жизни наряду с языками национальными. При этом национальный язык не всегда признается этими людьми родным. По данным наших социолингвистических опросов, 30 процентов белорусов, владеющих белорусским языком, считают родным русский язык. Здесь в этих оценках действует сознание близкого кровного родства языков и этносов. Нечто подобное наблюдается у малочисленных народов Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Но здесь ситуация несколько иная. Большое количество представителей этих народностей своего языка не знают, но называют себя эскимосами, чукчами, юкагирами. Видимо, именно эти случаи имел в виду Лео Вайсгербер, говоря о полном отказе от родного языка, что равносильно отказу от своей национальности.

Большой интерес, как нам кажется, вызывают те случаи, когда человек, не отказывающийся от родного языка, тем не менее использует в своей языковой жизни другой язык (в нашем случае — русский), т. е. является двуязычным. В исторически сложившейся ситуации речь идет, естественно, не о конкретном человеке, а о целых языковых коллективах, в которых устойчиво функционируют два языка. Такова ситуация в большинстве бывших союзных республик и в государственных формированиях в составе РФ (Татарии, Башкирии, Чувашии, Северном Кавказе). Это именно те случаи, когда можно говорить о частичном отказе от родного языка. В условиях двуязычия он заключается в попеременном использовании русского и национального (родного) языков. В отличие от полного отказа при этом не возникает никаких проблем, связанных с меной национальности.

До сих пор мы говорили о родном языке, никак не раскрывая смысла этого понятия. Термин «родной язык» в лингвистике используется часто, но четкого его определения нет. В зарубежной лингвистике как синонимы используются термины «материнский язык», «природный язык». Во всех, однако, случаях подразумевается, что этнос и родной язык совпадают. Если принять эту точку зрения, то придется констатировать, что абсолютно невозможна ситуация, когда человек называет себя армянином или

грузином, но родным языком считает русский. Невозможно также иметь два родных языка. Каждую из этих ситуаций рассмотрим подробнее, так как в реальности они встречаются довольно часто.

Человек называет родным язык, не совпадающий с его национальностью. Обычно это бывает в двух случаях: либо он не знает языка своей национальности, либо он знает национальный язык хуже, выучил его после того, как овладел русским, или, что также наблюдается, из других соображений (политических, ментальных и т. п.). В первом случае (и по Й. Л. Вайсгерберу) мена национальности уже произошла. Такая серьезная трансформация, естественно, происходит не сразу. Первое поколение, как правило, может отказаться частично от родного языка, но не приобретает другого национального самосознания. Так, армяне, вынужденно покинувшие родину в 1915 году, до сих пор говорят по-армянски, считают его родным языком (речь идет о тех, кто эмигрировал в США). Второе поколение плохо владеет армянским, считает себя армянами, при этом хорошо владеет английским. Родным языком они считают армянский, либо английский, либо оба языка. Третье поколение считает себя армянами, но при этом не говорит по-армянски, а родным языком считает английский. Представители четвертого поколения считают себя американцами, а родным языком называют английский. Правда, полного забвения происхождения у них пока нет. Именно в последнем случае и произошла мена национальности. Именно о представителях четвертого поколения можно сказать, что это американцы неамериканского происхождения.

У представителей второго поколения произошел лишь частичный отказ от языка своей национальности, но человек, зная, что функционально первым является другой язык, именно его и называет родным. Эта тенденция усиливается у представителей третьего поколения. Данный «механизм» смены родного языка и национальности не носит универсального характера. Можно назвать и исключения. Так, большинство советских евреев не знают ни идиша, ни иврита, родным языком считают русский, но при этом не теряют своего национального самосознания. И в этом случае кажущаяся такой естественной мысль Вильгельма Гумбольдта о соответствии и тождестве языка и духа народа («Язык есть дух народа, и дух народа есть его язык») оказывается не столь бесспорной, во всяком случае, допускающей исключения.

В реальной, более многообразной языковой жизни (в отличие от теоретических штудий по языкознанию), встречается и такой феномен, как два родных языка. В силу уже не раз упоминаемой нами моноэтничности языкового сознания это явление не только не принимается, но часто вызывает резкое возражение.

Действительно, если родной язык — язык национальности, то не может же у человека быть две национальности. Бытовое языковое сознание не может этого принять. Оно исключительно моноязычно. Здесь все строится на оппозиции «свой — чужой». Это хорошо видно, когда рядовые носители языка начинают оценивать свой и чужой языки. Эти оценки, как правило, носят исключительно субъективный и эмоциональный характер. Так, в чужом языке, как правило, подчеркивается то, что непривычно и необычно. «Чужой» язык оценивается чувственно (как вертит в руках незнакомую игрушку ребенок). Иначе не могло, например у армян, возникнуть мнение, согласно которому, по-грузински можно говорить, только набив рот горячей картошкой. Впрочем, возможно, что такая оценочная метафора спровоцирована самоназванием грузин (к ^варт^ули, которое содержит в армянском восприятии корень слова *картофель*). Аналогично судят о бразильском варианте португальского языка португальцы (это тот же португальский, только говорить надо, набив рот перцем). В годы Великой Отечественной войны, да и позже, немецкий язык устойчиво определялся как «собачий». Все немцы «лаяли». Уже в наши дни в процессе распада СССР и роста националистических амбиций больших и малых народов «досталось» русскому языку. Теперь уже русский на Украине оценивается как «собачья мова».

Грустно констатировать, но в оценках «чужого» языка всегда преобладают предрассудки. И ситуация здесь абсолютно адекватна тому, что Т. А. Ван-Дейк назвал этническим предубеждением: «Для моделей этнических ситуаций, помимо специфического их содержания (негативные действия и оценки, относящиеся к именам групп этнического меньшинства), характерно наличие особого, отличающего только эти модели структурного параметра — оппозиции „Мы — Они“ или „Свой — Чужой“» (Т. А. Ван-Дейк. Язык, познание, коммуникация. М., 1989. С. 183). «Свой» же язык носители склонны характеризовать с эстетической точки зрения, часто используя всякого рода метафоры (певучий, складный, гибкий, могучий, великий и т. п.).

Выражение любви к родному языку очень естественно, но все перечисленные оценки-метафоры в скрытом виде содержат сопоставление с каким-либо другим языком. При этом обнаруживается любопытная картина. Этот «другой» не всегда конкретный язык, часто носитель держит в голове стереотипное представление о «чужом» абстрактном языке, которого он даже не знает, но какая разница — японский или арабский, свой-то все равно лучше. Часто множество конкретных языков в таком представлении сливаются в один «чужой». И уже нет разницы один или все. Указанная же оппозиция скорее имеет вид —

«свой — чужие» или «свой — все остальные чужие!». «Свой» же — это всегда единственный. Естественно, что два своих никак не возможны. Этот коллективный стереотип (по К. Юнгу — бессознательный коллективный архетип) весьма живуч. Ему бессознательно подвержены люди даже весьма разумные. Именно действием этого стереотипа можно объяснить то, что многие ученые отвергают «второй родной» язык, что называется, с порога, еще на априорном уровне.

Такое отношение усугубилось еще и тем обстоятельством, что долгое время (особенно в 70—80 годы) многие борзописцы, политики от языкознания или языковеды от политики, вполне серьезно рассматривали возможность перехода русского языка из языка межнационального общения во второй родной язык всех наций и народностей СССР. Конечно, это был явный перехлест в выражении верноподданических чувств по отношению к старшему брату.

Сегодня «второй родной язык» рассматривается как не более чем лженаучный политический лозунг, еще один фантом унитаризма. Спорить с этим трудно. Вызывает возражение лишь тот факт, что говорят об этом опять-таки априорно. Качество суждений о наличии или отсутствии второго родного языка никак не подтверждается анализом языковых ситуаций.

Между тем само языковое явление может встречаться. Наличие двух родных языков обусловлено целым рядом условий, среди которых отношение к этому факту политиков или языковедов и социологов не имеет ни малейшего значения. Эти условия складываются десятилетиями, а то и большими промежутками времени. Приведем несколько примеров.

В Ростовской области есть армянонаселенный Мясниковский район. Армяне живут здесь уже более 200 лет. Это переселенцы с Крымского полуострова. Массовое переселение армян произошло во времена Екатерины Второй. Сама идея принадлежала, видимо, князю Потемкину. Чтобы усилить зависимость крымского хана от России, следовало ослабить ханство экономически. Армяне же и греки были основными налогоплательщиками и держателями капиталов. Но положение их было неустойчивым. Пока Россия и Турция воевали за Крым, всегда была возможность резни, грабежа христиан турками, да и крымчанами тоже. Сыграв на этом, Потемкин, которому было поручено освоение Тавриды и заселения юга России, добился согласия армян и греков на переселение. Оно произошло добровольно и было осуществлено А. В. Суворовым. Под Ростовом армяне основали город Новый Нахичеван (ныне Пролетарский район города Ростова) и несколько сел (Чалтырь, Топты, Несветай, Большие Салы, Малые Салы).

Жили первое время колонией, пользуясь предоставленными им привилегиями, почти изолированно. Но затем жизнь взяла свое. Сблизились и подружились с казаками, стали участвовать в экономической и политической жизни региона, деля с казаками их радости и печали.

В наши дни более 80 процентов населения района армяне. По данным проведенного нами социолингвистического анкетирования, 29 процентов донских армян называют родными два языка — армянский и русский. Здесь этими двумя языками владеют все армяне, т. е. наблюдается очень устойчивое и «старое» двуязычие. Тот факт, что история Новонахичеванской колонии не знает конфликтов на национальной почве, убирает все ментальные и предрассудочные препятствия, и людям не кажется чем-то ненормальным считать родными два языка, будучи при этом одной национальностью. Как видим, здесь сложились условия довольно специфические, можно сказать, даже уникальные.

Два родных языка часто указываются также людьми славянского происхождения на территории России, Украины и Белоруссии. Здесь часто большую роль играет не фактическое владение языками, а осознание близкородственности языков и происхождения этносов. В этом случае действие моноязыкового стереотипа не проявляется. Но близкородственность языков и этносов не является непреодолимым препятствием на пути этого стереотипа. Наоборот, наиболее болезненные его проявления как раз связаны именно с близким родством этносов.

Так, сербы и хорваты — два очень близких по происхождению славянских народа. История их совместного сосуществования, однако, — целая цепь конфликтов и противоречий. Оба народа стремятся к приобретению четких дифференциальных признаков. Это государственность, религия и язык. Религия у хорватов и сербов разделена давно. Сербы — православные, хорваты — католики. Сейчас те и другие приобрели государственность. Сложнее с языком. Он называется сербохорватским. Разница между «сербским и хорватским» квалифицируется как разница между двумя диалектами или литературными вариантами. Между тем в лингвистической литературе неоднократно появляются труды, преувеличивающие эту разницу и ратующие за признание двух самостоятельных языков. Очень заманчиво, ведь в этом случае проблема дифференциации будет решена в полной мере, все встанет на свои места в четком соответствии с моноязыковым стереотипом — два народа, и каждый имеет свой язык. К этому следует добавить, что разделение языков на уровне письменности уже проведено. Сербы пользуются кириллицей, хорваты —

латиницей. Фактически разделено все. Но окончательная дифференция произойдет только с приобретения одного (родного) языка.

И, наконец, третий случай — факт наличия смешанных семей, выходцы из которых также могут назвать родным два языка, но в этом случае причиной является фактическая принадлежность к двум этносам. Легко заметить, что в этом случае речь идет не о целых языковых коллективах, а скорее об отдельных личностях.

Таким образом, вышеупомянутый коллективный стереотип на самом деле не должен бы иметь большой власти над людьми, так как каждый из них в своей жизни может неоднократно встречаться с исключениями из моноэтнического и монологического представления мира. И тем не менее...

В заключение еще об одном аспекте действия указанного стереотипа. Дело в том, что его действие проявляется не только в оценках «чужого» языка, но и в оценках «своего» языка в устах представителей других национальностей, т. е. неисконной русской речи, в которой в большинстве случаев присутствует акцент, понимаемый как совокупность особенностей этой речи. Акцент порицается, вызывает раздражение, над ним насмеваются. В русском языке есть даже устойчивые оценки акцента. Китайцы, к примеру, по-русски «лепечут» или «лопочут». У грузин — он всегда «гортанный» и т. п. С одной стороны, ничего хорошего в этом нет. Но с другой, именно такое отношение может заставить неисконных носителей русского языка стремиться к насколько возможно чистой русской речи. Именно такое отношение в какой-то мере предохраняет язык от «расползания» в неисконной этнической среде.

Родной язык

Русский язык в современной эмиграции

ХАЙНРИХ ПФАНДЛЬ

Самые разные причины приводили и приводят к исходу из России миллионов ее граждан. Были первая, вторая, затем третья и ныне уже четвертая волны эмиграции. Современных лингвистов и в России, и за ее пределами все больше привлекают проблемы сохранения эмигрантами русского языка, влияния различных факторов на освоение ими языка принимающей страны и т. д.

Изучение языковых контактов имеет давнюю историю. В научной литературе достаточно полно разработана проблема разнообразных интерференций на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом. Исследователей интересовал акцент, наблюдаемый в речи эмигранта на осваиваемом им языке, морфологические и синтаксические ошибки, лексические отклонения и т. п., причем изучался в первую очередь вопрос о влиянии родного языка на осваиваемый им язык, — явление, называемое лингвистами интерференцией.

Гораздо меньше изучалась интерференция в родном языке эмигранта: насколько в его родной речи наблюдается акцент (скажем, американская интонация, наблюдаемая столь часто в

произношении дикторов иностранных русскоязычных радиостанций), где он употребляет неправильные окончания, путает род существительных, нарушает порядок слов, употребляет непрерывные конструкции, придает словам новые значения под влиянием местного языка (классическая ошибка у русских эмигрантов в англоязычном окружении: «я этого не реализовал» вместо «не заметил»; у русских эмигрантов во Франции: «Возьмем трамвай» вместо «Поедем на трамвае»).

Другой вопрос, также относительно изученный, — кто, в каком возрасте и как осваивает язык страны, в которую он эмигрировал, и как происходит адаптация к этой новой культуре. Написаны и пишутся школьные программы специально для украинцев в Канаде и для поляков в США, созданы и создаются учебники, сняты и снимаются видеофильмы.

Но существует проблема, оставшаяся в стороне от исследовательского внимания — это отношение каждого отдельного эмигранта к своему родному языку, к своей культуре, а также к осваиваемому им языку, к осваиваемой культуре. Социолингвисты предпочитают составлять статистические данные о языковом поведении, о степени владения различными сферами языка, о социальных контактах и т. п. и забывают о том, что причина того или иного языкового развития нередко заложена отчасти в самом отношении человека к той или иной культуре.

Существуют определенные типы эмигрантского языкового поведения. Один из них можно назвать поведением *ассимилянта*: собственный язык и собственная культура как бы уходят на второй план, сознательно не культивируются, и главной целью новой жизни становится слияние с культурой и языком принимающей страны. В этом случае наблюдается быстрое освоение коммуникативных навыков в новом языке и постепенная утрата родного языка. Этот процесс может приобретать самые различные формы, но один признак, по нашим наблюдениям, постоянный: постепенному забвению родного языка противостоит неполное, неудовлетворительное освоение местного языка. Что же касается воспитания детей, то в этом случае предпочтение отдается освоению языка принимающей страны, в то время как родной употребляется лишь в повседневной жизни, зачастую без всякого внимания к культуре речи. Нередко дети перестают отвечать на родном языке и переходят на осваиваемый язык.

Другой тип культурно-языкового эмигрантского поведения, не менее распространенный, — это поведение *антиассимилянта*: данное лицо слушает русские радиостанции, читает русскую периодику, общается в основном с русскоязычными людьми, эмигрантами, временно работающими за границей гражданами

государств СНГ или стран Балтии, с местными преподавателями и студентами русского языка. Свою культуру и свой язык он ценит больше, чем язык новой страны. Язык и культура новой страны его интересуют лишь в той мере, в которой это ему необходимо по профессиональным и другим практическим соображениям.

Третий, самый редкий, тип можно назвать *сознательным*, когда человек сознательно, на фоне родного языка, осваивает второй язык и вторую культуру. С помощью литературы, радио, видео, контактов с русскоязычными людьми и т. п. сохраняется и культивируется родная речь, вырабатывается новое отношение к своей культуре, появляется взгляд как бы извне на собственный культурно-языковой багаж.

Однако такое поведение не каждому дано, ибо требует больших, порой титанических усилий, колоссальных временных затрат и предполагает достаточно высокий уровень образования. Для того чтобы что-то сохранить, человек должен и до эмиграции располагать определенным культурным запасом, а если такого запаса нет, то и нечего сохранять, и переход в другую культуру не тормозится (или тормозится меньше) сохранением собственной. Владимир Набоков, Василий Аксенов и Иосиф Бродский служат образцовыми примерами настоящего, многостороннего, касающегося всех сфер билингвизма и бикультурализма. Такое отношение (наш третий тип) к эмиграции позволяет их носителям не только освоить новую культуру, но и по-новому взглянуть на собственную и, таким образом, стать полноценными посредниками между двумя народами.

Известный американский социолингвист Джошуа Фишман в одной из последних работ описал типы взаимовлияний между этническими коллективами.

В первом случае язык мигрантов теряется, его носители ассимилируются полностью, как это случилось, например, с немцами, компактно поселившимися в Северной Америке и потерявшими свой язык почти полностью. В другом случае автохтонный язык теряется, как это случилось, например, с кельтами Галлии в первые века нашей эры или со многими малыми народами России в наше время. Надо сказать, что, к сожалению, именно этот тип контактов двух этнических групп является самым характерным для всех типов языковых изменений (сдвигов) в мире: какой-то народ переселяется куда-то и вытесняет автохтонный язык. Третий тип, по Фишману, приводит к стабильным двуязычным коллективам, будь то (чаще всего) в виде диглоссии, т. е. функционального распределения форм одного языка, будь

то в виде билингвизма, т. е. равноправного распределения обоих языков во всех сферах жизни.

В связи с этим стоит остановиться на одном вопросе, ответ на который, возможно, поможет нам понять ряд проблем, связанных с поведением эмигрантов. Вопрос состоит в том, возможен ли билингвизм как более или менее стабильное явление жизни хотя бы одного поколения эмигрантов? Способен ли человек, а тем более целый коллектив, сохранять в течение нескольких десятилетий два одинаково функционирующих языка? Если да, то в каких пределах, в каких сферах, с какими ограничениями? Если нет, то стоит ли эмигранту к этому стремиться? На последний гипотетический вопрос можно ответить положительно, т. к. билингвы способны адекватно осознать и свою, и чужую культуру, и, таким образом, вступить в полноценный диалог культур, столь необходимый человечеству во все времена его развития.

В отличие от Фишмана, описавшего типы контактов коллективов, я попытался описать типы поведения отдельных эмигрантов, т. к. именно личное поведение, субъективное отношение отдельного эмигранта к своему и к чужому языку имеет решающее значение для его культурно-языкового развития. Ведь один и тот же человек может пройти совершенно разные пути культурно-языкового развития. Гипотеза, которую я собираюсь проверить или же отвергнуть, следующая: сохранение родного и освоение чужого языка у взрослого человека дают лучшие результаты, если данное лицо выбирает третий путь, путь сознательного сохранения первого и сознательного освоения второго языка.

Этот феномен подтверждается пока лишь отдельными наблюдениями. В моем родном городе живет тридцатидвухлетняя москвичка, приехавшая в Австрию в 1991 году, которая пока почти не говорит на немецком языке. Ее поведение до недавнего времени можно было назвать антиассимилятивным: она слушала исключительно русскоязычные радиостанции, читала преимущественно русские газеты и журналы (в австрийских газетах она вычитывала главным образом программу телевидения, которое она все же немного смотрела), общалась в основном с русскоязычным населением Граца и мало с австрийцами, часто звонила в Россию.

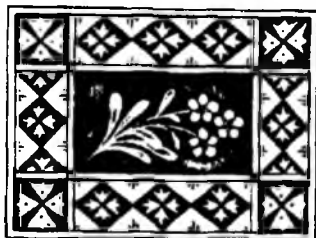
Что же происходит? Ее русская речь уже теперь начинает подвергаться влиянию со стороны немецкой речи, причем сначала это касалось отдельных слов (обозначающих главным образом реалии австрийской жизни), а теперь уже переходит в другие сферы языка, вплоть до интонации (фонетические интерференции на уровне звуков пока не наблюдаются). В отличие от нее, ее пятидесятилетний муж, будучи по профессии теснее связанным

с немецким языком и в некоторой мере овладевший им, сохраняет пока что свою русскую речь в абсолютной чистоте, хотя еще неясно, к какому типу культурно-языкового поведения он относится.

Этот пример поднимает целый ряд дополнительных вопросов о факторах, влияющих на языковое развитие эмигранта. Насколько важен возраст при эмиграции? Как влияет новая работа в новой стране? Какова роль образования? Кроме того меня интересует статус эмигранта до эмиграции: какие языки он знал? Что он ожидал от новой жизни? Какие причины побудили его покинуть родину? Собирался ли он поехать за границу насовсем или надеялся, что возвратится? Была ли эмиграция только внешне добровольной? Субъективно добровольной? Были ли разногласия в семье по поводу выезда? Разумеется, получить ответы на все эти вопросы довольно трудно, так как либо нужно опрашивать уже эмигрировавших об их прошлом, что часто приводит к искажению истины, либо нужно обращаться к людям, находящимся еще в России и собирающимся эмигрировать, но в этом случае сложность состоит в поддержании контакта с информантами после эмиграции.

Как бы то ни было, исследователя ждет широкое поле деятельности, и не исключено, что тот или иной вопрос останется открытым и после этих исследований. Но для того и существует наука, чтобы задавать все новые и новые вопросы.

*Грац,
Австрия*





Загадочные слова «ключе» и «ключь» Толковой палеи

А. Ю. КОЗЛОВА

Исследователи памятников письменности Древней Руси сталкиваются со множеством трудностей, связанных с особенностями средневековых текстов: нужно привыкнуть к необычным начертаниям букв древнего писца, разделить сплошной текст на слова, раскрыть титла, правильно внести в строку выносные буквы и т. д. Опасность неверного понимания таят даже вроде бы привычные для нас слова, существующие в русском языке и сейчас: необходимо точно знать, что обозначало слово в эпоху создания памятника, какую эмоциональную и стилистическую окраску оно несло. Чтению и пониманию произведения мешают темные, неясные по значению слова и выражения. Загадка таких слов может существовать долгое время, несмотря на то, что многие ученые пытаются проникнуть в их тайну.

Иногда загадочное слово может оказаться призрачным, никогда не существовавшим в письменности Древней Руси — своеобразным лексикографическим подпоручиком Куже: ошибочное прочтение или ошибочное написание незаконно получают права гражданства, фиксируются словарями, на них опираются в лексикологических и этимологических исследованиях. В журнале «Русская речь» были опубликованы статьи, посвященные мнимым древнерусским словам *итолок* и *бъдынъ* (см. соответственно: Русская речь. 1973. № 1. С. 124—127; 1978. № 6. С. 107—109).

На сей раз наше внимание привлекли два загадочных слова из текста Толковой палеи — памятника древнерусской книжности XIII—XIV вв. В его основу положено изложение отдельных книг Ветхого завета, причем библейский текст перемежается антииудейскими толкованиями, различными комментариями и дополнениями. В Палее можно найти самые разнообразные сведения богословского, исторического и естественнонаучного характера.

С особо вдохновенными дополнениями передается в Толковой палее книга Бытия Пророка Моисея, что, конечно, не случайно: ведь именно здесь затрагиваются важнейшие вопросы мироздания, возникновения и сущности человека. Автор-составитель Толковой палеи расширил текст книги Бытия славянским переводом сочинения Аристотеля «*Historia animalium*» (История животных), позаимствовав его, по-видимому, из другого довольно широко известного в средневековой Руси произведения — Шестоднева Иоанна Экзарха Болгарского.

Так вот, в весьма сокращенном изложении первого в славянской литературе анатомо-физиологического трактата во всех списках Толковой палеи встречаются два загадочных слова, затрудняющих понимание текста.

Одно из них — представленная в большинстве списков Палеи форма *клюща*: «Ср(д)це же оубо вчинено и лежить на ср(д)нем месте в ширина(х) обдержимо и хранимо округ *клюща* [в других списках *клющами*] яко (ж) оубо имши(м) е и яко вл(д)ка ествьный в чертозе и набдить инеми частми: окру(г) обистоящие его оуды <...> и не дающе ближни(м) вредом приближити(с)» (Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. ... М., 1892. Л. 316).

Конечно, зная сейчас источник трактата, чтобы выяснить, что скрывается под этим словом, мы можем обратиться и к Шестодневу, и даже к самому сочинению Аристотеля, но ведь читатели Древней Руси не проводили такого текстологического изыскания, да и само таинственное *клюща* имеет семивековую историю.

На протяжении пяти веков (XIV—XVIII) переписчики Палеи воспроизводили его в двух вариантах — *клюща* и *клющами*. В наше время составители Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. включили его в свой труд, не определив, правда, значения. В словарной статье, базирующейся на данной цитате, начальная форма слова дана в виде *клюще* (*клюща*); указано, что во всех расписанных для словаря древнерусских памятниках оно встретилось лишь однажды (Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. М., 1991. Т. IV. С. 227).

Попытаемся вникнуть в смысл цитаты: «Сердце же создано и находится в середине внутри тела, окружено...», а дальше — колебания писцов в форме слова, вызванные затруднением в понимании сочетания *хранимо округ *клюща* (*клющами*)*: «хранимо вокруг чего-то» или «хранимо вокруг, т. е. защищено везде чем-то». Для первого варианта, представленного большинством списков, подходит форма *клюща*, для второго — *клющами*. И смысл, и продолжение цитаты показывают правильность второго варианта:

не сердце хранится вокруг чего-то, а само сердце является центром, вокруг которого находятся другие органы. Итак, «сердце же создано и находится в середине внутри тела, окружено и защищено вокруг ключами, как бы охватившими его, (и) как владыка настоящий в чертогах, следит за другими частями тела — окружающими его органами <...>, которые не дают близко приблизиться кому-то или чему-то с целью вреда».

Форма слова указывает на творительный падеж, явно, не единственного числа. Что же окружает сердце? Ответ простой — легкие. Именно легкие соседствуют с сердцем, как бы охватывая его, являются парным органом, поэтому слово, выражающее понятие, должно стоять в двойственном, для начала XV века — во множественном числе.

В переводных памятниках древнерусской книжности «легкое» передавалось словом *плюще*, множественное число — *плюща*. Очевидно, что *ключами* Толковой палеи является искаженная передача этого слова, в чем можно убедиться, сопоставив приведенную цитату Палеи с текстом VI Слова Шестоднева Иоанна Экзарха Болгарского, где и обнаружим форму творительного падежа множественного числа — *плющами*.

Не проще ли, чтобы обнаружить ошибку, сразу обратиться к Шестодневу? Думается, что наши рассуждения были не бесполезны: для исследователя всегда очень важно быть внимательным к семантике текста, выяснить причину разночтений, да и не для каждого загадочного древнерусского слова известен источник-разгадка, и, наконец, история таинственного *ключца* на этом не заканчивается.

Здесь же в Толковой палее находится другое непонятное слово *ключами*: «Есть же оубо и личная часть нарецаемый нос. им же вдыхание [в других списках издыхание] о(т) скровища ср(д)чнаго ключами впускаемо в перси и в гортань приимата [в других списках приимаета] ноздри. и впроважаета [в других списках въпроваживается] ноздри и па(к) опять» (Палея толковая... Л. 31а). Во всех списках слово передается одинаково, в Словаре древнерусского языка значение *ключами* определено приблизительно — «струя?», начальная форма слова, по мнению составителей, *ключь*, опять же указывается единичность его употребления (Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. IV. С. 226).

Авторы словарных статей не заметили, что *ключца* (*ключами*) и *ключами* можно соотнести: основы *ключь-* и *ключ-* могут представлять церковнославянский и древнерусский варианты одного и того же слова. Но подходит ли к *ключами* значение «легкие»? Да, убеждает в этом анализ контекста. В нем говорится о воздушных путях человеческого организма: довольно последова-

тельно называются нос, гортань, *ключа* (легкие), ноздри. Отмечается, что воздух, вдохнутый носом, с помощью легких попадает в грудь или (обратно) в гортань, а затем в ноздри. Понятие, обозначенное *ключами*, как и в первом отрывке, опять же связывается с сердцем — «скровищами сердечными». Проверим предположение текстом Шестоднева: и действительно, форме *ключами* будет соответствовать уже известное нам *плющами*.

Тут же стоит задуматься: а случайна ли эта ошибка, сделанная два раза? Может быть, в древнерусском языке существовало слово *клюще/ключе* для обозначения легкого?

Такое предположение представляется нам маловероятным.

Во-первых, известно, что для обозначения легкого в письменности Древней Руси существовало три (!) слова: *плюще*, *плюче* и *легкое* — со строго определенной сферой употребления. *Плюще* и его русское соответствие *плюче* использовались весьма редко в основном в переводных памятниках, например, Хронике Георгия Амартола, Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского и других. По-видимому, это весьма древнее слово, восходящее к общеславянскому лексическому фонду — оно фиксируется во всех без исключения современных западославянских языках: чеш. *plíce* «легкие», словц. *plüca*, польск. *pluca*, в.-луж. и н.-луж. *plüco* — и некоторых южнославянских: сербохорв. *plъuha* «легкие», словен. *pljüca* родственно лит. *plaišciai*, лтш. *plaišas* «легкие», др.-прусск. *plauti* «легкое» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III. С. 797). Впервые оно фиксируется в виде *плюшта* в старославянском языке в Супрасльской рукописи. Хотя *плюще* и имеет древнерусский вариант *плюче*, оно, вероятно, не было характерным для живой речи Древней Руси, так как в современных восточнославянских языках не осталось никаких его следов ни в говорах, ни в литературном языке, не существует от него никаких производных слов. Такое слово, если бы оно существовало в живой речи, не могло исчезнуть бесследно, так как обозначало конкретный предмет, с которым люди часто сталкивались в бытовой ситуации: при забое скотины.

Кстати, этимология *плюще/плюче* и *легкого* весьма схожа и связана именно с этой хозяйственной операцией: *плюще* — «первоначально то, что плавает» (Фасмер М., там же), а легкое — «...при разделке туши съедобные внутренности кладутся в посудину с водой, причем легкие остаются на поверхности, а сердце и печень погружаются...» (Фасмер М. Указ. соч. Т. II. С. 474). В бытовых текстах, правда, только лишь с XVI века отмечается слово *легкое* (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 191). Таким образом, предположение о реальном существовании слов *клюще* и *ключе* для наименования в древ-

нерусском языке легкого неубедительно: наличие пяти слов для обозначения одного конкретного предмета слишком избыточно.

Во-вторых, необходимо принять во внимание характер использования в Толковой палее текста Шестоднева. Г. С. Баранкова заметила, что «переработка отдельных слов в „Толковой палее“ может свидетельствовать о том, что ее составитель (или писец) не всегда понимал значение слов из Шестоднева. Такова, например, переделка <...> слова *мьчѣт* на слово *мышца*...» и т. д. (Баранкова Г. С. О взаимоотношениях «Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского и «Толковой палеи» // История русского языка. Исследования и тексты. М., 1982. С. 276). Если *плюще* было не широко распространенным и исключительно книжным словом, составитель Палеи мог его не знать и исказить, сблизив непонятное слово, допустим, с более привычным *ключица*.

Все высказанное вроде бы позволяет утверждать, что *клюще* и *ключь* являются мнимыми, никогда не существовавшими словами, возникшими из-за ошибки, и поэтому гражданство их в Словаре древнерусского языка незаконно. Но особенность этих двух загладных слов как раз и заключается в том, что окончательно и бесповоротно вывести «приговор» о их призрачности никак не получается: неожиданно обнаруживаются совершенно противоречивые факты их существования.

Что же говорит против призрачности этих слов?

Если *клюще/ключь* были ошибками, то почему же ни в одном из списков Толковой палеи, несмотря на прозрачность контекста, искаженные написания не были исправлены? Неужели никто из писцов XIV—XVIII веков, переписывавших Палею, не знал слова *плюще* и не понял смысла написанной им самим фразы?

Далее, в Словаре русского языка XI—XVII вв. находятся два слова, употребленные единожды: *ключа* — предположительно «почки» и *ключья* — опять же предположительно «болезнь». Значение слов выведено по одному контексту из памятника XVII века «Начало премудрости афинеиской...»: «Аще урина светла и черна и многа урины таии ч(е)л(о)в(е)к ключью болит от многа огня, аще ли урины многа а светла и бела тогда ключа исказилися от многия студени» (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 183). Не восходят ли и здесь *ключья* и *ключа* к одному слову *плюче*? И не значат ли они все те же «легкие»? Конечно, урина — моча связана прежде всего с почками, но при воспалении легких происходит общая интоксикация организма, и заболевание почек может явиться осложнением пневмонии. И если под этими словами подразумевать легкие, то фраза не будет противоречить действительности, тем более, что никому не изве-

стно, чтобы где-нибудь и когда-нибудь почки именовались *ключа*, нигде не встретилось и подобное название болезни — *ключья*. Здесь опять же сталкиваемся с названием какого-то внутреннего органа тела, опять же есть указания на единичность употребления и приводится лишь приблизительное значение. Чувствуется, что какая-то связь этих слов с загадочными словами Толковой палеи существует, но четко определить ее трудно.

И напоследок еще одна встреча, правда, не с самим словом, а образованным от него прилагательным. В Описании славянских рукописей Московской синодальной библиотеки А. В. Горского и К. И. Невоструева (М., 1860. Отд. 2. Ч. 2. С. 147) приведено выражение из «Вопросов и ответов св. Сильвестра и препод. Антония» — «о кличнемъ съставѣ». Параллельный греческий текст показывает, что речь идет о легких. Ошибка ли это, встретившаяся уже в пятый раз, или доказательство реального существования слова? Интересно, что *кличный* из Описания попало в два весьма авторитетных словаря, в которых было представлено совершенно по-разному. Ф. Миклошич решительно исправил ошибку: «pro [вместо.— А. К.] пличнемъ» (Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae. 1862—1863. 515), а в Материалах для словаря древнерусского языка И. И. Срезневский передал *кличный* без изменений (Изд. 2. М., 1958. Т. 1. Стлб. 1223). Прилагательному придан статус слова, посвящена отдельная словарная статья, но толкование его весьма странно — «прилагательное от кличь», а у слова *кличь* ни в этом словаре, ни в каком-либо другом нет значения, хоть как-то связанного с названием какого-либо органа тела.

Как видим, сейчас пока нельзя еще определенно отнести *клюще* и *ключь* ни к словам-призракам, ни к реально существовавшим в древнерусском языке словам. Их загадка продолжает существовать...

Коломна



«УЧРЕЖДЕНИЕ О ГУБЕРНИЯХ»

Г. И. БАГРЯНЦЕВА,

кандидат филологических наук

Воцарением на российском престоле Екатерины II завершился процесс становления абсолютной монархии в стране, а сама форма правления будет позднее названа в исторических трактатах «просвещенным абсолютизмом». В этот период происходят и определенные сдвиги в структуре управления государством. Уже были созданы необходимые органы центральной власти, далее следовало преобразовать местную власть, мало подвергшуюся реформам при Петре I.

Самым важным среди документов, регламентирующих местную власть, был — «Учреждение для управления Губерній Всероссийскія Имперіи» (далее «Учреждение о губерниях»). Оно было составлено по указу самой императрицы и издано в 1775 году. Документ с таким названием появился впервые в практике русского делопроизводства. К тому же само слово, взятое в качестве названия, по происхождению было чисто русским и лучше отражало назначение этого законодательного акта.

До сих пор в России издавались уставы и регламенты, в которых определялись структура и функции новых учреждений, в большом количестве вводимых императором Петром I: «Воинский устав» (1716), «Морской устав» (1720), «Генеральный регламент

или Устав коллегий» (1720), «Регламент Духовной коллегии» (1721).

«Учреждение о губерниях» отличается своеобразием композиции, значительно больше объемом по сравнению с другими крупными документами XVIII века и состоит уже из двух частей.

Первая часть была опубликована 7 ноября 1775 года. В ней устанавливаются примерные штат губернских учреждений, количество жителей в губернии; даются сведения о губернских и уездных чиновниках и определяется порядок назначения их на должности. Кроме того здесь же называются основные учреждения губерний и уездов, которые следует создать, устанавливаются их права и возможности, а также объясняется порядок оповещения об их решениях.

Вторая часть документа издана позже — 4 января 1780 года. В ней рассматривается деятельность тех учреждений и должностных лиц, о которых не было сказано в первой части, и определяется взаимоотношение учреждений и должностных лиц между собой с учетом занимаемого ими места в иерархии губернской власти.

Обе части «Учреждения о губерниях» разделены на главы (всего 31), которые включают 491 статью. Наличие статей или более мелких элементов структуры также явилось новым композиционным моментом по сравнению с предшествующими актовыми документами и отражало рост законодательного мастерства в России.

Документу предпослано ставшее к тому времени традиционным введение, где в длинных напыщенных выражениях объясняется необходимость появления нового закона: «Многие по блаженной Его [Петра I.— Г. Б.] кончине бывшие перемены, разные правила и мысли, частые войны, хотя не умаляли величества Империи, но наводили на установление Сего Великого Императора или отмены, либо отнимали мысли к продолжению Им начатого, или вводили правила иные по разным о вещах понятиям, или же по переменяющимся обстоятельствам по естественному течению вещей.

Мы потому от самого дня возведения Нашего на Всероссийский Престол, попечение Наше неутомленно простирали спознать вообще и подробно по переменявшимся обстоятельствам части внутреннего Государственного управления, требующие поправления или издания новых учреждений, постановлений и узаконений».

После введения, являющегося как бы зачином документа, следуют по порядку главы и статьи закона. Знакомство с документом показывает, что во многих статьях сведения законода-

тельного характера переданы простыми, небольшими по своему объему предложениями, например: «В городском Сиротском Суде предстает Городской Глава и заседают 2 Члена Городского Магистрата и городской Староста»; «При Верхней Расправе определяется Прокурор, Стряпчий казенных дел и Стряпчий уголовных дел».

Это говорит о том, что уже в данный период возникло стремление к лаконизму и точности языка документов, качеств столь необходимых для правильного его понимания.

Однако введение нового органа власти или новой должности требовало подробной регламентации их деятельности. Поэтому в «Учреждении о губерниях» вместе со статьями чисто информативного характера, которые содержат распоряжение законодателя, есть аргументирующие или разъяснительные статьи. В этих статьях определяется сфера деятельности, круг обязанностей должностного лица или органа власти, указывается, какие юридические последствия ожидают неисполнителей указанного предписания. Простые малораспространенные предложения не могли выразить предъявляемые требования, поэтому стали использовать большие периоды с целым рядом разнообразных придаточных предложений. Самым распространенным типом в данных статьях являются условные предложения. Чаще всего такие предложения оформлены союзом *буде*, известным в древнерусский период: «Перенос дел из Палат в Сенат запрещается, *буде* тяжба идет о деле, которого цена ниже 500 рублей». Более новые союзы *когда* и *если* встречаются редко. А *ежели* вообще не зафиксирован, хотя в «Генеральном регламенте коллегий» он был самым употребительным среди условных союзов (См.: Русская речь. 1994. № 1. С. 87).

После придаточных условия в «Учреждении о губерниях» по частотности идут определительные предложения, которые служили для конкретизации, разъяснения ситуации во многих статьях. Союзы и союзные слова, оформляющие этот тип придаточных предложений, можно расположить в такой последовательности: *который, кои, что, какой, как, каковой*. «Штатные команды, кои в городах находятся при разных караулах Присутственных мест, или при должностях, суть в команде Городничего, который в случае опасности ... оные собрать и употребить может для предохранения общего блага от опасности...»

Важное место в оформлении аргументирующей статьи «Учреждения о губерниях» занимают придаточные цели, называющие цель как всей статьи, так и какой-либо ее части. Наиболее распространенным союзом таких предложений в документе является — *чтобы/чтоб*. Часто продолжает употребляться древне-

русский союз *дабы*. Реже встречается *ибо*. «Смирительному дому надлежит быть довольну пространну, построену на вольном воздухе, кругом крепку со стеною, или таким забором, чтоб утечки из оного дома отнюдь никто учинить не мог, и чтобы числа людей для присмотра или караула излишно не умножить, внутри смирительного дома иметь все нужные для дома строения и бани».

Мало представлены в рассматриваемом акте придаточные причины с союзом *понеже* (самый употребительный в «Генеральном регламенте коллегий»), который практически утрачивает свою роль непереносимого зачина статьи, оставаясь самым распространенным среди причинных союзов и в «Учреждении о губерниях». Видимо, новые законодательные акты в меньшей степени нуждались в объяснении причин тех или иных действий. «Понеже все имение движимое и недвижимое и люди малолетнего и сам он под опекою состоят; то прикащики, старосты и выборные, где они есть, ... без ведома опекуна, из принадлежащего малолетнему, не должны употреблять сами собою ничего...»

Однако в данном законодательном акте для выражения причинных отношений уже появляется составной союз *так как*, употребленный в четырех статьях. «Буде же где окажутся обиды, или притеснения, то Земский Исправник рассмотря, на обывателей, буде кто из них обижен, требовать имеет удовольствия, так как и с них обывателей взыскание чинить, буде они кого обидели...» Этот союз, как известно, возник в русском языке из сочетания соотносительного наречия *так* в главном предложении и причинного союза *как* в придаточной части. Впоследствии *так как* прочно закрепится не только в деловом, но и общелитературном языке как один из причинных союзов.

Другие союзы для выражения причинных отношений в «Учреждении о губерниях» встречаются редко.

Изъяснительные предложения не типичны для языка статей анализируемого документа. Эти придаточные предложения оформляются, в основном, союзами *как* и *что*. Например: «Буде же Верхний Земский Суд найдет, что проситель ни малейшей правости не имел вчинать дела в Уездном Суде, и что вчинал дело без всякой причины и вида справедливого основания, или по одной ябедке: тогда за пустое вчинание спора и тяжбы Верхний Земский Суд наложит на него пеню 25 рублей...»; «Городовой Сиротский Суд долженствует знать, как опекуны управляют имением / сиротским».

Кроме того, в аргументирующих статьях законодательного акта есть уступительные предложения с союзом *хотя*, придаточные времени, оформленные — *когда*, *всякий раз когда*, *до тех пор*

пока, как и другими союзами. Однако сложноподчиненные предложения с указанными придаточными не служат ярким признаком языка статей «Учреждения о губерниях».

Для выражения повеления законодателя в анализируемом документе употребляется традиционная документная формула: «да + презентная форма 3-го лица единственного или множественного числа глагола в изъявительном наклонении». Данная конструкция встречается в обеих разновидностях законодательной статьи. «Буде которой Палате нужно по делам сообщение с равным ей местом, да произведут сообщение между собою; в случае же медленного ответа, да требуют вспоможения от своего (Губернского) Наместнического Правления...»

Риторические фигуры в «Учреждении о губерниях» не зафиксированы, ибо документам законодательного характера в целом не была свойственна образность. Жанровыми особенностями объясняется также отсутствие в документе этикетных формул. Ведь получателем «Учреждения о губерниях» являлось не конкретное лицо, а обобщенное.

Особое место среди статей первой части «Учреждения о губерниях» занимает 222-я, названная «Примерное или повальное наставление опекунам». Эта статья в отличие от других разделена на пункты, их всего 17. По способу передачи информации ряд пунктов можно отнести к информативным, например: «2) Опекун принимает движимое и недвижимое имение малолетнего по описи в свое смотрение и ведомство». Однако в большинстве пунктов дается подробная аргументация соответствующего положения закона. Следовательно, эти пункты можно назвать аргументирующими: «5) О особе и здравии малолетнего опекун имеет напряженное попечение и всячески старается, дабы малолетний воспитан был в страхе Божии, в познании той веры, в которой родился, в правилах добронравия, в удалении от всех злых примеров, сердце и нрав от самого детства развращающих и повреждающих, и для того (буде малолетний не помещен в общественных для дворян училищах) надлежит опекуну определить к малолетнему для услужения необходимо только нужных служителей, людей добрых и поведения непорочного, а для воспитания и научения не принимать бродяг, от коих добра ожидать не можно...»

Саму же статью следует охарактеризовать как компилятивную (составную), соединяющую в себе черты информативной и аргументирующей.

Данная статья как бы предваряет собой целый ряд статей, появившихся затем во второй части документа и имеющих пунктообразное расположение материала. Таким образом, «Учреж-

дение о губерниях» внесло ряд существенных особенностей в композиционное оформление законодательных актов. Вместе с тем анализируемый документ имел определенное влияние на общий процесс формирования системы документов XVIII века. Это влияние заключалось в том, что в «Учреждении о губерниях» были узаконены особые виды документов для служебной переписки новых органов местной власти. Среди узаконенных документов можно выделить как традиционные для рассматриваемого периода, например: *Определение, Рапорт, Указ*, так и новые: *Наставление, Предложение, Решение, Сообщение, Уведомление*.

Не останавливаясь на характеристике традиционных документов (об этом см.: Русская речь. 1986. № 4. С. 87—92), отметим особенности новых. В числе этих документов есть распорядительные — *Наставление, Предложение, Приговор, Решение*; просительно-исполнительные — *Уведомление* и известительные — *Сообщение*.

Наставление и *Предложение* предусматривались «Учреждением о губерниях» как документы близкие по своим функциям. Разница между ними должна была заключаться в том, что в *Предложении* давались советы и пожелания подведомственным учреждениям и должностным лицам, а *Наставление* включало в свой состав наказания и предписания. С помощью названных документов следовало переписываться только тем учреждениям и должностным лицам, степень служебной зависимости которых между собой была минимальной. Поэтому адресаты *Наставлений* и *Предложений* обязаны были исполнять распоряжения, данные в них, только в тех случаях, когда они не противоречили уже существовавшим законам. *Приговор, Решение* и *Определение* должны были составляться на основе коллективного обсуждения распорядительного документа, полученного из вышестоящего органа власти или от более высокого по служебному положению должностного лица. Таким документом мог быть *Указ* или *Предложение*. Следовательно, названные документы не могли функционировать самостоятельно, а сопровождали *Указ* или *Предложение*, вместе с которым они и посылались в подведомственные этим учреждениям органы управления.

Большой разницы между *Определением, Приговором* и *Решением* не было, что и фиксировал «Словарь Академии Российской» в толковании указанных документов: *Определение* «решение, положение, общий судей приговор по какому делу» (СПб., 1789—1794. Ч. 2. С. 88); *Приговор* — «определение, решение, признание, общее мнение по какому-нибудь делу полагаемое» (там же. С. 154). Толкование *Решения* как документа в Словаре не представлено.

Посредством *Уведомления* предписывалось извещать адресата о получении от него *Наставления* или *Предложения*, а *Сообщение* вводилось как единственный документ известительного типа.

Итак, «Учреждение о губерниях» не только узаконило новые органы власти на местах, но и определило особые документы для переписки введенных им учреждений и должностных лиц всех уровней. Благодаря этому оно внесло определенный вклад в процесс нормализации документов, начатый «Генеральным регламентом коллегий». Но если в «Генеральном регламенте коллегий» предпочтение отдается употреблению заимствованных наименований документов, то в «Учреждении о губерниях» Екатерина II узаконила для всех видов служебной переписки документы, имеющие собственно русские названия. Это относится также и к административной терминологии. Заимствованные выражения «...обергиттен-фервальтер, шоутбенахт и прочие иностранные звания,— указывал видный филолог XIX века Н. И. Греч,— введены у нас были со времени Петра Великого; при Екатерине вошли в употребление слова русские: казенная, гражданская, уголовная палата, управа благочиния, наместник, председатель, исправник, заседатель и т. п.» (Греч Н. И. Чтения о русском языке. СПб., 1840. Ч. I. С. 117—118).

Отказ от иноязычной административной и документной терминологий является важной отличительной чертой языка «Учреждения о губерниях» и свидетельствует, во-первых, о том, что в России к этому времени сложилась своя достаточно развитая система бюрократического управления страной, а, во-вторых, о своеобразии вводимых на местах органов власти, имеющих чисто русский характер.

Проведенный анализ показал, что «Учреждение о губерниях» помимо собственно юридического значения оказало также влияние на совершенствование композиции и языка законодательных актов и привело к расширению номенклатуры документов, употреблявшихся для служебной переписки.

Тула

Б. Пастернак и частушка

В. Г. РАДУНСКИЙ

Разговор об этом может показаться странным и надуманным. Но и биография, а, главное, творчество поэта свидетельствует об его интересе и знании фольклора. Пастернака привело в восторг выступление в Москве сказительницы М. Д. Кривополеновой, он изучал труды фольклористов, в частности, А. Н. Афанасьева, В. Я. Проппа, В. И. Даля, общался с П. Г. Богатырёвым, переписывался с О. Э. Озаровской. «Доктор Живаго» переполнен реминисценциями почти из всех фольклорных жанров: сказок, песен, духовных стихов, причитаний и т. д.

Но частушка, пожалуй, как это ни парадоксально, ближе всего к поэтике Пастернака, с его пристрастиями к разговорной интонации, просторечной лексике, аллитерациям и ассонансам. И стихам поэта, и частушкам свойственна афористичность, из них вышло множество пословиц и поговорок.

Естественно, по характеру они очень разные. В частушке всегда светится лукавый задор, она более иронична. В стихах Пастернака постоянно проглядывает выпускник философского отделения университета, ученик неокантианца Когена. Почти за каждым его стихотворением стоят в конечном счете философские раздумья и глубокие обобщения.

Эти заметки посвящены нескольким случаям встречи поэта с частушкой.

1. «Сложa весла»

В десятиые — двадцатые годы нашего столетия была очень популярна песенка:

Мы на лодочке катались,
Золотистый, золотой.
[вариант: «злотой мой, злотой»]
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.

Иногда (помню это из своего детства) вслед за ней пелась другая:

Сирень цветет,
Не плачь, придет.
Эх Коля, в груди больно,
Любила — довольно.

Наш разговор, в основном, о первой частушке. Она сделана «крепко», что называется «отшлифована» по законам красоты. Во всех четырех строчках — одинаковые чередования ударных и неударных слогов: пиррихий — хорей. Создается определенный ритмический рисунок: стих как бы не движется, а только равномерно покачивается: взад — вперед, подобно лодке на волнах, если на ней не гребут и она стоит на месте.

Система ударных и неударных слогов дополняется аллитерацией:

Мы на ЛОдОчке катаЛИсь,
ЗОЛОтистый, золоТОй.
Не гребЛИ, а цеЛОваЛИсь,
Не каЧАй, брат, гоЛОвой.

Ло-и-ли, ло-ло, ли-ло-ли, ча-ло — почти слышно, как волны бьют о корму лодки.

В четверостишии — в основном открытые звуки *а* и *о*, именно на них падает большинство ударений и рифма: *а — а! о — о!* Создается ощущение простора: на широкой реке (или озере) качается лодка.

Четыре строки и мотив «страданий» — немного грустный — и за каждым высказанным словом тянется длинный шлейф невысказанного. «Он» и «Она» — частушка моя. Это старая сказка, которой суждено быть вечно новой. Она поет про него: *золотистый, золотой*. «Золотой» — это такое же ласковое обращение, как «дорогой», «милый». Оно настолько постоянно в употреблении, что вряд ли его произносящий вспоминает о цвете. «Золотистый, золотой» — почти портрет: представляешь русые кудри, играющие в лучах солнца, отражающегося в тихих волнах реки.

Все повествование в прошедшем времени: это было. Было да прошло, прошло и не повторится: не качай, брат, головой. Грусть мотива сочетается с грустью ситуации. Дальше — все зависит от нашей фантазии. Целый роман выстраивается за немногословием стихотворной миниатюры...

Эта частушка восхищала В. Маяковского. Он говорил, что считал бы себя законченным мастером, если бы написал такое. И не находится ли наша «лодочка» у истоков образа его «любовой

лодки», которая «разбилась о быт»? Н. Асеев посвятил ей следующие строчки:

Где-то лодка в море чалит,
с лодки — голос молодой,
и тревожит и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый, золотой!» —
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.

В 10—20-е годы Маяковский и Асеев — ближайшие друзья Пастернака. Сам он создал вариацию на эту частушку летом 1917 года в книге «Сестра моя — жизнь». Музыкант и композитор в юности, он даже один из своих сборников стихов озаглавил музыкальными терминами «Темы и вариации», в котором представлено творческое прочтение произведений Пушкина и Гете. У Пастернака нет прямых сюжетных соответствий, но прототип угадывается в отдельных деталях. На этот раз перед ним не литературный текст, а произведение устного народного творчества. И вот что из этого получилось:

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на шелканье славок проматывать!

Аллитерация, сходная с той, что в частушке, начинается прямо с заглавия стихотворения и дальше:

СЛОжа весЛА
ЛОдка кОЛОтится в сонной груди,
Ивы нависли, цеЛЮют в кЛЮЧИцы,
В ЛОкти, в уклЮчины...

— здесь звукопись доходит до звукоподражания.

Переключка с народной песенкой продолжается в деталях. Название стихотворения указывает на то, что «не гребли». И тоже целовались. Несколько туманный императив «о, погоди» отсылает к не очень ясному «довольно» из частушки «Сирень

цветет». И цветок этот упоминается во втором четверостишии, где говорится о «пепле сиреневом».

Больше соответствий с частушкой в первом четверостишии и в начале второго — поэт сам ссылается на них: «Этим ведь в песне тешатся все». Но затем «похожесть» идет на убыль. В третьем, последнем, четверостишии ее нет совсем.

Внимательно перечитывая стихотворение и частушку, начинаешь находить между ними больше различий, чем сходств. Уже первая пастернаковская строчка загадочна: «Лодка колотится в сонной груди». Здесь лодка воспринимается как метафора сердца, к которому чаще всего и относится слово *колотится*, да еще в груди. Но следующие две строчки возвращают нас на реку: «Ивы нависли, целуют в ключицы...» Значит, герой все-таки сидит в лодке. Правда, весь пейзаж изменился по сравнению с народной песней. Лодка у берега, около зарослей ивняка, и действие происходит вечером или ночью (грудь — сонная, на небе звезды). И целуются не Он и Она, а ива целует кого-то, вероятно, одинокого. А может быть, одинокую. Ведь весь цикл стихов, куда входит «Сложь весла», называется «Развлечения любимой». Следовательно, это она *губы и губы выменивает на звезды*, это она *ночи проматывает на целканье славок*. Это ей дано «обнять небосвод, руки сплести вокруг Геракла громадного».

Так, отталкиваясь от простейших ассоциаций и образов, Пастернак приходит к «космическому». В один ряд выстраиваются частушки, катания на лодках, любовь мужчины и женщины, любовь к природе, любовь к мирозданию, связь с Космосом — все то, что и называется Жизнью — сестрой поэта.

2. «Воробьевы горы»

«Воробьевы горы» — название стихотворения, также вошедшего в книгу «Сестра моя — жизнь»:

Грудь под поцелуи, как под рукомыльник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просеяв полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

Вероятно, Б. Пастернак побывал здесь 21 мая/3 июня 1917 года и участвовал в народном гулянье, посвященном Троицыну дню.

Троицын день — светлый праздник любви — всеобщий и каждого в отдельности. По народным представлениям, это лучшее время для заявления своего чувства (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1869. Т. 3. С. 707). И стихотворение открывается ошеломляющей до шока строкой: «Грудь под поцелуи, как под рукомойник!». Но поэтическая смелость автора вполне оправдана. Его художественный образ строит бодрость, свежесть и чистоту в соответствии с характером праздника и датой начала лета («это полдень мира»). Стихотворение пронизано ощущением безграничной, «вселенской» радости. Поэт молод, весел и не верит, что настроение его преходяще и переменчиво. Он чувствует полное слияние со всем окружающим и думает о вечном: «Мир всегда таков». Ему непонятны речи о том, что «на лугах лица нет, у прудов нет сердца, Бога нет в бору».

В начале XX века Воробьевы горы — пригород Москвы. «Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. Дальше служат сосны». Это было традиционным местом народных увеселений: с американскими горками, каруселью, тиром, торговлей мороженым и буфетом.

В замысел поэта не входило этнографическое описание праздника, но несколько штрихов складываются в картину, и мы погружаемся в атмосферу многолюдного гулянья. О наплыве народа говорит поднятая им пыль. Преобладает простонародье — в ситцах.

В городских условиях утратилась большая часть троичной календарной обрядности, еще сохранявшейся в деревнях. Остались только березовые ветки — обязательный атрибут праздника. О них — как бы мимоходом брошено: «ветки отрывая». В предполагавшемся последнем прижизненном издании произведений (М., 1956) Пастернак собирался уточнить фразу и переделал на «ветки обрывая».

О частушках в стихотворении не говорится. Но упоминание

«низкого рева гармоник» позволяет читателю самому вспомнить о популярном в то время фольклорном жанре. Без частушек не обходилось ни одно гулянье, а исполнялись они зачастую под игру на гармонии.

Самое интересное в этом стихотворении — авторская позиция. На гулянии лирический герой не посторонний, а участник, он не со стороны наблюдает, а движется со всеми в едином порыве веселья. Он не отделяет себя от толпы таких же, как и он, гуляющих на Воробьевых горах. Отсюда — первое лицо множественного числа. С этого начинается стихотворение: «Рев гармоник подымаем..., топчем..., влечем...» И заканчивается оно местоимением *нас*.

«Мы» — это те, кто одет в ситцы, играет на гармониках и поет частушки, дарит друг другу здесь, на Воробьевых горах, свежие очистительные поцелуи, кто чувствует живую душу природы, кто стремится познать Бога.

В свое время, объясняя замысел Четвертой симфонии, П. И. Чайковский писал: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам» (Альшванг А. А. П. И. Чайковский. М., 1959. С. 243).

Этот характерный взгляд интеллигента XIX века на народные традиционные праздники и гулянья в творчестве Пастернака преломляется, наполняясь новым ощущением общности судьбы, общности горя и радости.

3. «Свадьба»

Стихотворение «Свадьба» написано в 1953 году:

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне

Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками,

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалась в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор,
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, в глубь окон,
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

По рассказам Б. Пастернака, произведение внушено «простым фактом жизни, где-то на дворе (в другом флигеле, у простых людей) свадьба была, поздно ночью не дали спать и рано утром разбудили, но у меня не было раздражения на них, наоборот, будто я прожил с ними эту ночь» (Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. 2. С. 321). Эти слова из письма к

Н. А. Табидзе — ключ к стихотворению, в котором несколько раз упоминается, что свадебное веселье не позволило уснуть, разбудило: «а зарею, в самый сон, только спать и спать бы...», частушка «ворвалась» «прямо к спящим на кровать». Упоминание о сне содержит и описание утра: «просыпался шумный двор». И, наконец, голубей с пожеланьем многих лет выслали вслед за свадьбой тоже «спросонья».

На протяжении всего текста изображение свадьбы соседствует с мотивом сна; сна как естественной повседневной необходимости. Свадьба ворвалась в сон, как в будни врывается праздник. Для поэта обыденное и праздничное — нечто единое и нераздельное. Потому-то и «не было раздражения».

Из-за того, что «мешали заснуть», образ свадьбы получился не столько зрительным, сколько звуковым. Происходящее скорее слышишь, чем видишь: вот удаляется тальянка, и с часу до семи все стихло, но с зарею «вновь запел аккордеон», и опять «плеск ладоней», «говорок частушки». И вдруг все звуки исчезли, «провалясь в тартарары» — свадьба удалилась.

Изображение «шума и гама гулянья» усиливается аллитерацией с преобладанием наиболее шумных звуков: дрожащего *р*, взрывных *б* и *п*, *г* и *к*, *д* и *т*, шипящих *ч*, *ш*, *щ*.

ГовоРоК ЧасТуШКи
ПРямо К сПяЩим на КРоваТЬ
ВоРвалась с ПиРуШКи

Или:

ВДРуГ заДоР и Шум иГРы,
ТоПоТ хоРовоДа,
ПРовалясь в ТаРТаРаРы...

Стихотворение, действительно, возникло в связи с конкретным жизненным фактом, но сводить его к простой констатации, конечно, нельзя. За каждым словом ощущается полет поэтической фантазии. А подлинную свадьбу в самом деле играли — играли у Гаврилы Алексеевича Смирнова, помогавшего Борису Леонидовичу по хозяйству и выполнявшего обязанности сторожа, истопника, огородника и многое другое, столь необходимое в негородских условиях. (Г. А. Смирнов нежно любил Пастернака. Известно, как он переживал свистопляску, поднятую по поводу Нобелевской премии поэта. «Вот пишут: „против народа“, „против народа“, а ведь он самая народность и есть», — говорил Гаврила Алексеевич, имея в виду личность Бориса Леонидовича.) На территории дачи Пастернака в Переделкине он развел свой огород (около 4-х соток), сложил себе деревянную избушку и жил в ней

многочисленной семьей — с женой и несколькими детьми. Старший сын Борис в 1951 году демобилизовался. Вот его свадьбу и справили в 1953 году.

Поэт переносит действие стихотворения из дачного пространства в город: с мостовой улицей и шумным, следовательно, многонаселенным двором.

В 50-е годы XX века уже ушла в прошлое свадебная лирика с причитаниями невесты, протяжными песнями и многовековым традиционным обрядом. Все это вытеснила частушка, исполнявшаяся на городских свадьбах в большом количестве. Поэтому в стихотворении и упоминается ее «говорок».

В «Свадьбе» у поэта идет «переключка» не с конкретной частушкой, как это было в «Сложь весла»; частушечные ассоциации возникают на уровне поэтики жанра. Стихотворение написано трехстопным хореем — одним из самых распространенных частушечных размеров. Сравним:

Всё-то, всё-то ничего,
Да одно не ладно:
Без милого моего
Гулять не повадно.

(Частушка. Предисловие В. Ф. Бокова. Вступит. статья, подготовка текста и прим. В. С. Бахтина. М. — Л., 1966; здесь и далее частушечные примеры приводятся по этому изданию).

Или:

По деревенке иду,
Иду и веселюся,
За деревенку зайду —
Слезами обольюся.

В стихотворении много повторов: «только спать и спать бы»; «и опять, опять, опять...»; «павой, павой, павой». Это излюбленный прием в частушке: «Расколю я, расколю/Осиновую плашку;/Полюблю я, полюблю/Крайнюю Дуняшку». Единичность, на котором построен финал стихотворения, — тоже художественное средство, нередко используемое в частушках. Например: «Без тебя, мой дорогой,/Без тебя, мой милый,/Без тебя, хороший мой,/Белый свет — постылый».

Но, несмотря на сходство поэтических средств, стихотворение Пастернака не несет в себе характерной частушечной интонации. Это обусловлено разными принципами композиционного построения. Частушка в значительном большинстве двучастна: первый и второй стихи обладают определенной самостоятельностью, имеют некоторую законченность по отношению к третьему и четвертому. Структура четырехстрочной частушки, таким образом, как

правило, состоит из двух пар стихов. Связь между ними бывает самой различной: они дополняют друг друга, поясняют, спорят между собой и т. д. Двустилишие является тем пространством, на котором всегда вырастает нечто относительно цельное по мысли. Отсюда протекает лапидарность частушки, ее четкость и краткость, ее динамика — то, что поэт назвал ее говорком. У него самого в «Свадьбе» — каждое четверостишие одночленно, имеет одну законченную мысль. Это создает ритм некоей неторопливой обстоятельности, противопоставленной поэтике частушки.

Пастернак не стилизует «под частушку» и не пытается ее воспроизвести. Он только напоминает о ней читателю. Несколькими штрихами рисует обстановку ее бытования — с пляской под баян, с плеском ладоней, в шуме, свисте и гаме гулянья. Она — деталь свадьбы, которую поэт «будто прожил» вместе с гостями.

Это характерная особенность обращения Пастернака к фольклору. Он не стремится к этнографическому описанию. Изображая обрядовый праздник, будь то Рождество, Троица или свадьба, поэт всегда выступает участником или, в крайнем случае, «как бы участником» происходящего. Интерес к фольклору у него никогда не носит характера «хождения в народ», которое само по себе обязательно предполагает противопоставление себя народу. Фольклор у Пастернака спаян с его собственной повседневностью, входит в его внутренний поэтический мир. Поэтому каждый раз фольклорные образы и темы перерастают в высказывание самых сокровенных мыслей и чувств. Ему всегда «через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мирозданья».

И в финале стихотворения слова *свадьба, сон, голубь* превращаются в символы, приобретают философское звучание. Начав с «гулянок», «частушек», «тальянок», поэт подводит читателя к необходимости растворенья «нас самих во всех других», что и составляет смысл жизни.

В крещении Иосиф, в миру Остромир

Н. Н. ПАРФЕНОВА,
кандидат филологических наук

Такова была формула именования того самого новгородского посадника, для которого в 1056—57 годах было переписано Евангелие, получившее название «Остромирово».

Для идентификации личности одного человека на Руси не было случайностью употребление двух имен. Об этом сообщают древние летописи.

Княгиня *Ольга*, прежде называвшаяся Прекрасною, при крещении получила христианское имя *Елена*. Под 955 годом читаем в летописи: «наречено имя ей во святом крещении *Олена*». *Борис* и *Глеб*, невинно убиенные братом своим Святополком, имели крестные имена *Роман* и *Давид*. Отец Александра Невского Владимирский князь *Ярослав* Всеволодович был крещен *Феодором*. Этим же именем был наречен и *Владимир* Мономах. Великий князь киевский *Ярослав* Владимирович Мудрый был в крещении *Георгием*, его сын *Изяслав* Ярославич — *Димитрием*.

Боясь наговора, действия нечистой силы, крестные имена хранили в тайне, в обществе их не знали, записывались они только при акте рождения, произносились при крещении, становились известны при погребении.

В этой связи приведем примеры из летописей: «родился Олегу сын и нарекоша имя ему в крещении *Борис*, а мирски *Святослав*» (1167); «родися у Игоря сын и нарекоша имя ему в крещении *Адреян*, а княжее *Святослав*» (1177); «родися у великого князя Всеволода сын *Феодор*, а прозван был *Ярослав*» (1190); «родися *Константину* сын *Всеволод*, а в святом крещеньи нарекоша имя ему *Иоан*» (1210).

Князь *Владимир*, крестивший Русь, получил имя *Василий*. Об этом мы узнаем из синодика, в который записывались имена для поминовения умерших: «Благоверных великих князей русских Великого князя *Владимира* во святом крещении наречения *Василия Великого*» (Синодик Холмогорской епархии. СПб, 1878. С. 14).

Памятники письменности XVI—XVII веков сообщают нам о сохранении этого древнего обычая. Майор Майерберг, посетивший Россию в 1661 году в качестве дипломата, заметил, что многие

придворные бояре имели по два имени, одно при рождении, другое при крещении, которое таили. Одним из приближенных бояр царя Алексея Михайловича был *Богдан* Матвеевич Хитрово, крестное имя которого *Иов* стало известным при погребении «преставился оружейничей и дворецкий Богдан зовомый Иов Матвеевич Хитрово» (Родословная рода Хитрово. СПб., 1866).

Историк Н. П. Лихачев, посвятивший обширное исследование разрядным дьякам XVI столетия, выявил факты двуименства. Дьяк *Иван Карачаров* именовался также *Чудин Митрофанов*. *Никита Семенович* Моклоков подписывался *Губа* Моклоков. Его сын *Посник* имел крестное имя *Федор*, в документах именовался как *Посник Губин*. *Курбат Григорьев* и *Тарас Грамотин* — был одним и тем же лицом. Синодик Чудовского монастыря содержит запись о поминовении «по дьяке Путиле Михайлове Митрофанове имя ему Семен» (Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888. С. 263).

Знаменитый Хмельницкий имел два имени: *Богдан* и крестное *Зиновий*, но этого имени никто не употреблял. Канцлер конца XVII века *Алмаз Иванов* имел и христианское имя *Иерофей*.

Бытование неканонических имен длительное время сохранялось на Руси среди всех классов и сословий.

В синодике XVII века, находящемся в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, сохранились записи на поминовение убиенных при взятии Казани в середине 16 столетия «Волку Федорову сыну Побединскому, Грибану Иванову сыну Жедринскому, Тихомиру Юрьеву сыну Пушкину, Третьяку Соловцову, Нехорошеву Ачкасову, Первому Кашкарову».

Немало некалендарных имен встречается среди воевод XVII века в Сибири: *Тугарин Федоров* (1600, Нарым); *Посник* Бельский (1604, Кетский острог); *Молчан* Лавров (1613, там же); *Чеботай* Федоров сын Челищев (1615, там же); *Белица* Лаврентьев сын Зюзин (1618, Березов); *Неупокой* Андреев сын Кокошкин (1633, Тара); *Пятой* Спиридонов, (1637, Мангазея); *Воин* Лукьянов сын Карсаков (1641, Верхотурье). В 1619 году тобольский сотник *Черкас* Рукин ставит Енисейский острог, в котором воеводой в 1620 году был *Один* Трубочанов (Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36).

Историк И. Е. Забелин, описывая домашний быт русских царей 16—17 столетий, упоминает бытовые имена среди людей разных сословий: боярин *Любим* Александрович Бахметьев, дьяк *Сурьянин* Тороканов, истопник *Зимарь* Куличкин, подьячий *Воинко* Якунин и др. (Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. М., 1895).

Широко употребительные среди крестьян нехристианские имена фигурировали в документах, обладающих юридической силой. Так, в верхотурских поручных читаем: «се яз *Сухан* Пиминов

сын, яз *Третьяк* Пантелеев сын» (Центральный Государственный архив древних актов. Ф. 1111, № 123, л. 229. Далее — ЦГАДА); «яз Пятой Филипов ... снял с невянского с пашенного крестьянина з *Добрыни* Ондреева сына Бабенкова поруку» (там же, л. 46).

В Тюменской переписной книге 1730 года упоминается «ямской охотник Сергийко прозвище Дружинка Ондреев сын Полстовал» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 21, л. 115 об.). Именно под этим вторым неканоническим именем человек известен в обществе. При повторном упоминании используется имя Дружинка как более известное: «а под пашню отведено ему по его Дружинкину челобитью заложные порозжие земли» (там же, л. 116). Приведем еще примеры: «ямской охотник Макарко прозвище Девятко Окинфеев сын Хохлова <...> ему Девятку дано пашни <...>, порука по нем Девятке» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 21, лл. 110—111). В Переписной Тобольской книге 1655 года записано: «Пантелейко да Ивашко а Вторка он же Трубины у *Вторка* сын Ондрюшка» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 146, л. 20).

Зауральские источники XVII века разных жанров обнаруживают широкое бытование двойных имен среди крестьян, ямских охотников, посадского люда. Например: «Максимко Васильев сын Кожевин, а Макарко он же» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 146, л. 35 об.); «Обросимко Годовиков сын Чистюнька а Тренька он же» (там же, л. 25 об.). Имя *Тренька* могло быть уменьшительной формой от неканонического *Третьяк*, или от канонического *Терентий*. «Гаврилко Павлов сын Долгушин а Жданко он же» (там же, л. 30); «Ивашко Федосеев прозвище Якунька» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 5, л. 173 об.); «Петрушка прозвище Ивашко Васильев сын» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 21, л. 32); «Ивашко прозвище Харька» (там же, л. 58). *Харька* — уменьшительная форма от имени *Харитон*. «Ивашко прозвище Степанко Онтонов сын Нечаев» (там же, л. 104 об.).

Как явствует из приведенных примеров, в качестве второго имени, принятого в общении, использовались не только древнерусское неканоническое, но и народная форма канонического имени.

Из более чем тысячи ста канонических имен, записанных в святцах, месяцесловах, церковных календарях, в реальной жизни бытовало не более ста тридцати мужских, восьмидесяти — женских имен. Многие из христианских имен в силу разных причин не вошли в русский обиход. Так, *Еспер* — в древнегреческом «вечер»; *Макровий* — древнегреч. «долгожизненный»; *Кандид* — в латинском языке «белоснежный, блистающий»; *Исаврий* — в древнееврейском «косматый»; *Исихий* — древнегреч. «спокойный»; *Касторий* — в древнегреч. «бобровый»; *Евод* — древнегреч. «благопутный»; *Езекия* — в древнеевр. «богом укрепляемый» — не отвечали эстетическим вкусам наших предков и в реальной жизни не употреблялись.

В то же время можно отметить христианские имена, которым отдавалось предпочтение в древности и которые продолжают употребляться ныне. Так, наблюдения над функционированием христианских имен в памятниках разных территорий, например, московских, тюменских, верхотурских, тобольских и др.— позволяют сделать выводы о популярности в XVII веке таких имен: *Иван, Василий, Федор, Григорий, Михаил, Петр, Семен, Степан, Никита, Яков, Алексей, Афанасий, Анна, Евдокия, Прасковья, Марья, Акулина, Екатерина, Марфа, Фекла, Агриппина*.

Народно-разговорные формы этих имен вошли в пословицы, поговорки, загадки, присловья: *У всякого Гришки свои делишки; Щеголь Ивашка: что ни год, то новая рубашка; Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать да бабушка; В праздник — Груша, в будни — клуша; Акуля, что шьешь не оттуля? А я, матушка, еще пороть буду; Время плохо: стал указчиком Оноха*.

В письменных источниках можно найти и бытовавшие разговорные формы канонических имен. Так, в родословце Морозовых есть запись: «князь великий Александр Невский побил немец и на том бою у него было шесть мужей храбрых и от тех ото шти мужей храбрых один был именем *Михайло*, а прозвище *Миша* (Временник Общества истории и древностей российских. М., 1851. Кн. X. С. 180). Слово *прозвище* указывает на разговорную форму имени *Михаил*.

В памятниках письменности XV—XVII веков наблюдаем явление отражения двух форм имен: «кабала на *Олександра* Иванова сына прозвище *Олеша*» (Новгородские кабальные книги XV—XVI вв. ЦГАДА, ф. 1144, кн. 5, л. 34 об.); «кабала на *Еуфимка* Иванова сына прозвище *Алфим*» (там же, л. 45); «кабала на *Микитку* Сергеева сына прозвище на *Мишку*» (там же, кн. 2, л. 27); «кабала на *Павелка* Огафьева сына прозвище на *Павка*» (там же, кн. 5, л. 30 об.); «кабала на *Петрушку* а прозвище *Петеля*» (там же, л. 58 об.); «*Парасковья* Матвеева дочь прозвище *Пашка*» (там же, кн. 6, л. 65 об.); «Варнава с своею женою *Соломянидкою* прозвище с *Сонкою* с Чепчуговою дочерью» (там же, кн. 6, л. 45 об.); «*Марфа* прозвище *Машура*» (там же, кн. 2, л. 14).

В Тюменской переписной книге 1630 года находим подобные же формы номинации: «*Панфилко* прозвище *Панко* Володимеров сын Рыболов» (ЦГАДА, ф. 214, кн. 21, л. 140); «*Ферапонтик* прозвище *Фарка* Микифоров сын Старцова» (там же, л. 82).

Свидетельства об использовании христианских имен в качестве и крестных, и бытовых есть в памятнике XVII века — Кормовой книге Спасского Ярославского монастыря: «корм кормити по князе Федоре Андреевиче Телятевском а имя ему Епифаний. По Дмитрии Обрезкове а имя ему Авраамий. По Владимире Пивове а имя ему Акила. Кормити братию по князе Василии Михайловиче Глинском а имя ему

Прокопей» (Лихачев Н. П. Двойные имена//Известия генеалогического общества. СПб., 1900. Вып. I. С. 127).

На бытование имен, имевших сакральный характер, указывает встречающееся в письменности XVII века определение *молитвенное* при слове *имя*: «человек мой Максимко Фотеев женился на приданой моей девке Дашке Яковлевой дочери прозвище Сорока а молитвенное имя Пигасья» (Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки, ф. 256, № 47, ед. 238, л. 3).

Небезынтересно отметить, что отчества у детей образовывались от имени, под которым человек был известен в обществе, хотя оно и не являлось крестным. В духовном завещании 1637 года встречаем запись: «се яз многогрешный раб божий Арефа прозвище Андрей Петрович Совин» (Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 256, № 47, ед. 238); «Василей да Дмитрей Ондреевы дети Совина» (там же). Слово *прозвище*, как следует из памятников письменности, означало бытовое, всedневное имя, заменяющее крестное и выполняющее охранную функцию.

Следует при этом напомнить, что слово *прозвище* было многозначным. В числе иных его значений было «дополнительное, необязательное имя, даваемое человеку в разные периоды его жизни по тем или иным его качествам, свойствам». Один из потомков великого князя Юрия Долгорукова князь *Юрий Александрович Долгоруков*, живший в 17 столетии, имел крестное имя *Софроний* и прозвище *Чертенюк*, которое унаследовал от деда своего князя Григория Ивановича Черта (Долгоруков П. Родословная. СПб., 1888. Ч. I. С. 88).

Наши предки придавали имени магическое значение. Имея в виду таинственную связь имени и судьбы человека, древние стремились скрыть настоящее, данное при крещении, имя. Отсюда и обычаи именоваться двойным именем.

В первые века после введения христианства на Руси предпочтение отдавалось древнерусским именам, бытование которых было освещено традицией предков. С течением времени канонические имена исчезают. В памятниках письменности в начале XVIII века их насчитываются уже единицы. Пришедшие на смену им христианские имена постепенно адаптировались, приспосабливаясь к звукам русского языка, видоизменяли свою форму, переосмысливались. Возникали народно-разговорные варианты канонических имен. И постепенно христианские имена стали восприниматься как достояние национальной русской культуры.



ПЕРЕЯСЛАВЛЬ НА ТРУБЕЖЕ

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

На территории восточных славян известны три города с названием *Переяславль* и все они расположены на трех разных реках, но с одним названием — Трубеж: 1) Переяславль Южный или Русский, Киевский (современный город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области на Украине); 2) Переяславль-Залесский в Ярославской области России (современный Переславль-Залесский); 3) Переяславль-Рязанский — центр Рязанской области в России (современный Рязань).

В нашей исторической и филологической литературе существует традиция считать названия Переславль-Залесский и Переяславль-Рязанский перенесенными в Северо-Восточную Русь из Южной во время продвижения славян с юга на северо-восток, которое, по мнению историков, закончилось к X веку. При этом не учитывается даже то обстоятельство, что названия этих городов в Северо-Восточной Руси появились спустя 200—300 лет после того, как закончилось это переселение. Название Переяславль-Залесский впервые упоминается под 1152 годом в Московской летописи, созданной в XV веке: «Того же лета Юрьи в Суздале поставил церкви камены, Борис Глеб на Нерли и Спаса, и Георгия, в Переславли Спаса» (Полное собрание русских летописей. Далее — ПСРЛ. XXV). С XV века город изменил форму названия на Переславль-Залесский. Первое упоминание

Переяславля-Рязанского относится к 1300 году: «Рязаньские князи Ярославичи бишася у Переяславля» (ПСРЛ. I).

Историческая ситуация вокруг этих городов и лингвистический анализ их названий дает основание считать, что механического переноса наименований с юга на северо-восток Древней Руси не было. Они возникли независимо друг от друга как результат действия внутренних законов древнерусского языка, единого для Южной и Северо-Восточной Руси.

Имя Переяславль для южного города и северо-восточных городов имеет разную мотивацию. Существует несколько версий о происхождении имени Переяславля Южного, основанных на разных контекстах летописей. Наиболее убедительной представляется легенда, приведенная в Повести временных лет, записанная под 992 годом. По этой легенде, город был основан на том месте, где воин князя Владимира одержал победу в поединке с воином-печенегом. Поединок был устроен для того, чтобы избежать большого сражения, кровопролития между войском князя Владимира и печенегами. На месте, где проходил поединок, Владимир повелел возвести город и в честь одержания победы над печенегом дать городу имя *Переславль*, так как здесь была *перенята*, взята, отнята военная слава русским воином. Вот как об этом сообщает летопись: «Володимер же рад быв, заложи город на брде томь [через реку Трубеж.— Г. С.] и нарече и Переяславль, зане перея славу отроко т» (Повесть временных лет. М.-Л., 1950. Ч. I. С. 85).

Менее убедительными представляются другие версии, в частности такие: русич принял славу от печенежина или по имени отрока Переяслав. Принятия славы не было, она была завоевана в тяжелом поединке, а к тому же в летописи не говорится о том, что воин князя Владимира имел имя Переяслав. Форма топонима на *ль* вполне объяснима с точки зрения древнерусского языка и была известна в названиях не только антропонимического происхождения. Современный топоним *Гомель* (город в Белоруссии) известен в Ипатьевской летописи в формах Гомий, Гомей, Гомье, Гомень, Гомън (Ипатьевская летопись, 1142 год записи). Исследователи выводят его из праславянского **gomyjъ* (из **got* «куча земли, бугор» + *j>* *Гомель*); город Лукомль, Лукамль (современное село в Белоруссии) от основы *луком(a)* «изгиб оврага» + *j→* *Лукомль*, т. е. «кривоовражистый», а *Гомель* — «стоящий на возвышенности, на бугре» (Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М., 1983. С. 61, 104).

Иного происхождения названия северо-восточных Переяславлей, имеющих другую мотивацию, хотя тоже связанную с перенятием, продолжением славы. Название *Переяславль* (Рязанский)

впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1300 годом, затем под 1301, как город, около которого происходят военные сражения. Это несомненно связано с тем, что после разорения и уничтожения Рязани Батыем в 1237 году стольный город княжества был перенесен на реку Трубеж. У впадения в нее реки Лыбедь было заложено укрепление, превратившееся в город и получившее название Переяславль-Рязанский. Новая столица должна была *перенять* (*перейти*) славу прежней Рязани, столицы княжества, большого и известного торгового города, с развитыми ремеслами. Уточнение *Рязанский* сохранялось в названии до 1778 года. Исходя из этого, можно сделать вывод, что город был основан не переселенцами из Южной Руси, принесшими сюда и свое название, а самими рязанцами в результате разорения их прежней столицы татарами в 1237 году. Это событие произошло спустя более двухсот лет после завершения массового переселения восточных славян из Южной в Северо-Восточную Русь.

Необходимо привести одну сомнительную запись о более раннем происхождении города и названия Переяславль-Рязанский. Священник Ильинской церкви о. Марк написал на оборотной стороне одного из листов Псалтыри 1570 года: «В лета 6603 заложен бысть град Переславль Резанска около церкви святого Николы-Старого [т. е. в 1095 году.— Г. С.]. Сомневаться в сообщенных о. Марком сведениях заставляет хронология записи — XVI век и соответственно палеография надписи. Кроме того, по мнению археологов, в записи о. Марка допущено много фактических ошибок, что свидетельствует о ненадежности источника, которым он пользовался. Город был заложен у впадения реки Лыбеди в Трубеж, а не около церкви Николы Старого. Кроме того священник сообщает, что в 6725 году около этой церкви была жестокая сеча, каковой не бывало еще в Русской земле. Как считают историки и показывают раскопки, в этом году никакой сечи в городе не было. Археолог А. Л. Монгайт считает, что Переяславль был основан в XIII веке, о чем свидетельствуют и археологические данные, хотя некоторые из них с определенной долей сомнения можно отнести к XII веку: «Строго говоря, слой XII и XIII вв. трудно разделить, так как ни в наслоениях земли, ни в находках нельзя обнаружить значительной разницы» (Монгайт А. Л. Рязанская земля. М.— Л., 1961. С. 163, 179).

О том, что Переяславль-Рязанский появился после нашествия Батыя на Рязань, свидетельствует и тот факт, что в «Повести о разорении Рязани Батыем» при перечислении разрушенных им городов Переяславль не упоминается. И вообще в этой повести нет никакого упоминания о Переяславле, хотя Батый проходил

со своим войском по замерзшей Оке мимо этих мест и не мог не заметить города.

Подобная ситуация сложилась в Ростовской земле с Переяславлем-Залесским. Как известно, он находится на Плещеевом озере, оно же Переяславское, а более раннее его название Клешино. На этом озере до 1152 года находился большой торговый город Клешин, своеобразная столица владимирского Залесья. По свидетельству историков и археологов, Клешин был поражен страшной холерой и пожаром в 1152 году, в результате чего административный и торговый центр округа был перенесен в другое место — на реку Трубеж при впадении ее в озеро, а на старом месте осталось городище — впоследствии село Городище (Смирнов М. И. Залесский город Клешин. П.-Залесский, 1919).

Новый город, основанный на Трубеже, должен был заменить погибший Клешин и стать таким же — *перенять* (*перейати*) его славу, известность. Поэтому и был назван Переяславлем, «перенявшим славу» прежнего города, его предшественника.

Название Переяславль записано в Московской летописи под 1152 годом — годом гибели города Клешина. Эти свидетельства дают основание утверждать, что город Переяславль-Залесский был основан уцелевшими жителями Клешина, переселившимися сюда после несчастий, постигших город.

В пользу исконности северорусских топонимов *Переяславль* может еще свидетельствовать и наличие аналогичных названий значительно южнее и западнее Переяславля Южного: Переяславль (Переяславец, Переславец) Дунайский или Болгарский, Малая Преслава — крепость болгар на Дунае — современное село Преслава; Преслав, Преславль или Преславль Великий — современное село в восточной Болгарии на реке Тичи. Аналогичные семантические и структурные образования известны практически по всей Южной Руси: река Переяславская, Переяславцева Долина, Переяславщина и др. (См. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985). Приведенные факты говорят о том, что топонимы, образованные от сочетания *перейати* (*преяти*) *славу* были известны на разных славянских территориях, как южных, так и северо-восточных.

По разным причинам все три Переяславля оказались на Трубеже. Переяславль Южный был основан на Трубеже у брода, что облегчало переправу войскам через реку. Именно здесь и состоялся поединок. Два других Переяславля оказались на Трубеже по другой причине: благоприятное расположение на реке с природными особенностями.

В основе гидронима Трубеж можно видеть апеллятив *труба*, известный у западных и восточных славян в разных значениях:

«протока» — в русских диалектах (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV); «колодезь, источник, ручей» (Опыт областного великорусского словаря. СПб, 1852); «русло реки, коренное ложе реки» — в разных русских диалектах; «рукав пруда, место, где вытекает вода из пруда» — в некоторых говорах чешского и словацкого языков (Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957); «речище реки» — в белорусском языке. Видимо, в значении «протока, рукав реки или пруда», слово *труба* стало основой гидронима *Трубеж*, подтверждением чего может быть и чисто физико-географический аргумент: Трубеж в Рязани до сих пор является протокой, рукавом Оки. На картах начала XIX века Трубеж у Переславля-Залесского по конфигурации и гидрографическому силуэту напоминает протоку Плещеева озера. Не исключена возможность видеть в далеком прошлом протоку в днепровском Трубеже между Днпром и Десной через реки Быструю и Остер.

Естественно, что при переносе северо-восточных Переяславлей, потерпевших катастрофу, выбиралось оптимально удобное место. Такое удобство в значительной степени создавалось протокой, судоходной на всем своем протяжении, чего не давал приток реки, несудоходный в верхнем течении и требующий разворота судов около города. Защитные функции протока неслучайно так же, как и приток реки или озера. Именно поэтому оба Переяславля были перенесены на протоку — на Трубеж.

Гидронимия от основы *труба* довольно широко известна на территории западных и восточных славян, значительно шире территории Древней Руси. Сам Трубеж фиксируется не только на Украине и в России, но и в Белоруссии. Встречаются многочисленные однокоренные названия речек, балок, оврагов и даже населенных пунктов: Труба, Трубельня, Трубелка, Трубень, Труботня и др. (Маштаков М. Л. Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913); балка Трубаїв, реки Трубай (дважды), Трубич, Трубище (Словник гідронімів України. Київ, 1979); реки Трубежница, Трубенка, овраг Трубищи и др. — в бассейне Оки (Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976); река Трубница — в бассейне Волхова (Реки и леса Ленинградской области. Составил Д. Ф. Шанько); jez. Trąbin, Trąbińskie, Trubacka Rostoka, Pod Trubacz и др. в бассейне Вислы (Hidronimia Wistyl, cz. I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965).

Перенесенными из Южной Руси в Северо-Восточную Русь считаются и многие другие топонимы, в частности *Звенигород*, *Вышгород*, *Владимир*. Обращение к внутренним законам древнерусского языка, общего для восточных славян, учет культурно-исторических традиций славянства дает полное основание

считать, что эти названия городов Северо-Восточной Руси не были принесены откуда-то, а родились здесь как названия возникших здесь объектов, по законам древнерусского языка, на апеллативном, а не на ономастическом уровне.

Топоним *Звенигород* впервые фиксируется в Галицкой земле (Лаврентьевская летопись под 1086 г.), затем в Киевской земле (Ипатьевская летопись, 1097 г.) и в Московском княжестве в 1339 году (ПСРЛ. IV). Хронология не дает основания считать, что киевский и московский топонимы были перенесены из Галиции. Они появились каждый на своем месте и обязаны обычаю ставить на возвышенности (горе, холме) сторожевые посты. Оттуда звоном (ударами о железное) сторожа извещали о приближающейся опасности. Именно это обстоятельство упоминается, когда речь идет о подмосковном Звенигороде. Здесь на горе был установлен такой сторожевой пост, по которому гора получила название *Сторбжа*, а позже, в XV веке, был основан Саввино-Сторожевский монастырь. Подобные примеры можно продолжить.

Общий (древнерусский) язык, культурно-исторические традиции, конкретные социально-экономические условия жизни древнерусских городов Северо-Восточной Руси не дают оснований считать их названия механически перенесенными из Южной Руси.

Уважаемые читатели!

Начиная со следующего номера (№ 4/94), журнал «Русская речь» будет публиковать «Топонимический словарь Центральной России», составленный доктором филологических наук Г. П. Смолицкой.

В Словарь включены топонимы из двадцати одной области Центральной России: это названия городов; некоторых поселков, связанных с важнейшими историческими и культурными событиями; крупных и малых рек, озер, давших имена городам и т. п.

Публикация рассчитана на длительный период и будет осуществляться по алфавитному принципу.



Старый воробей и желторотый птенец

Л. И. КРУГЛИКОВА,
кандидат филологических наук

Имеет давнюю традицию противопоставление опытного, бывалого, искушенного человека неопытному, не умудренному жизнью.

Еще в XIV веке в русском языке использовалось существительное *небывалец* «неопытный, неискушенный человек», антонимами к которому выступали однокоренные слова *бывалец*, *бывальщина*. С течением времени их количество увеличилось. Наиболее развернутые синонимические ряды со значением «опытный, бывалый человек» и «неопытный, неискушенный, не умудренный жизнью человек» характерны для XIX—XX веков. Причем оборотов, служащих для отрицательной характеристики человека, намного больше, чем для положительной. Специфика же заключается в том, что синонимический ряд «опытный, бывалый человек» почти целиком состоит из фразеологизмов, в то время как антонимичный ему ряд — в основном из слов.

Формирование указанных оборотов начинается в XVIII веке. В частности, характеристика опытного, бывалого человека в то время состояла из трех вариантов: *бывальщина*, *старого лесу кочерга*, *тертый калач*. Необычное на первый взгляд сочетание слов *старого лесу кочерга* становится понятным, если вспомнить значение того слова, от которого когда-то образовалось существительное *кочера*: *кочерга* — «суковатое дерево, коряга» (оно до сих пор сохранилось в говорах). Опыт обычно приобретается к старости. Вспомним поговорку *Старость опытом богата*. В результате становится понятным перенос «старое дерево» → «опытный человек». К тому же слово *кочерга* «железный прут с загнутым концом для перемешивания топлива в печи» может употребляться как бранное по отношению к старому человеку

на основании внешнего сходства (загнутый конец железного прута — согорбленный человек). Наличие в исходном словосочетании прилагательного *старый* будет свойственно и другим оборотам, характеризующим опытного человека, о которых мы скажем далее.

Сравнение человека с тертым калачом основано на том, что тесто для калача долго мнут и трут. Это подтверждает и пословица *Не тереть, не мять — не будет калач* (в переносном смысле «беды человека научат»).

Все остальные обороты обязаны своим появлением XIX веку, причем в качестве исходных у них почти всегда выступают словосочетания с наименованиями животных.

Оборот *травленный (старый) волк*, судя по лексикографическим источникам, вероятно, возник в XIX веке. В последние годы у него сформировался еще один вариант — *матерый волк*.

В настоящее время, видимо, можно говорить о фразеологической модели «старый + х», где в качестве *х* выступает наименование животного, а весь оборот имеет значение «очень опытный человек, которого трудно обмануть, провести»: «Как же вы травленный волк, старая лиса, не поняли, что это все была работа — тяжелая, нудная, кропотливая работа по овладению реальными рычагами власти, по постепенному перетягиванию на свою сторону всех, от кого в действительности зависел и зависит ход вещей в нашем маленьком богоспасаемом государстве?» (Н. Шмелев. Спектакль в честь господина первого министра); «Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвертом году, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилась понравившаяся мне фотография Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале, — сильное и умное лицо старого тигра» (К. Симонов. Глазами человека моего поколения).

Использование компонентов *лиса, тигр* вносит дополнительные оттенки в значения оборотов: в первом случае это не просто опытный, но и чрезвычайно хитрый человек, во втором — свирепый, жестокий, властный.

А вот фразеологизм *морской волк*, известный с XIX века, употребляется только по отношению к опытному моряку.

А теперь рассмотрим синонимический ряд с противоположным значением «неопытный, неискушенный, не умудренный жизнью человек». Открывает его метафора *молокосос*, известная с XVIII века. Тот же образ возникает в нашем сознании при использовании таких лексем, как *сосун, сосунок*, у которых интересующее нас значение, по-видимому, появилось лишь в конце XIX — начале XX веков, если судить по примерам употребления. Переносные

значения у них зафиксированы только в словарях советской эпохи.

В основе еще нескольких языковых единиц лежит перенос с наименованием детей. Это прежде всего *мальчишка*, *мальчик*, приобретшие переносные значения в XVIII веке, и *девчонка*, вошедшее в обиход в XIX. Метафоры *сопляк*, *сопливец* известны также с XIX века. Ныне вышедшие из употребления лексемы *возгривец*, *возгривик*, *возгряк*, являющиеся синонимами слов *сопляк*, *сопливец* в значении «сопливый человек, ребенок», в XVIII веке могли употребляться и в интересующем нас значении. Еще два слова, служащие характеристикой неопытного человека *сморкун*, *сморкач* известны с XIX века. Их исходные значения связаны тематически с предыдущими.

Наблюдается перенос с наименований детенышей животных — *щенок*, *цуцик*, *цыпленок*. Переносные значения у последних также развились в XIX веке, а у слова *щенок* — в XVIII. Тот же вид переноса у фразеологической единицы *желторотый птенец*. Интересно, что в словаре В. Ф. Трахтенберга «Блатная музыка (Жаргон тюрьмы)» в значении «молодой, неопытный арестант» зафиксировано существительное *желторот* (СПб., 1908). Не исключено, что оно представляет собой калку немецкого *Gelbschnabel* (буквально «желтый клюв») «молокосос». Формирование фразеологизма *желторотый птенец*, по всей видимости, началось в конце XIX века. В романе К. М. Станюковича «Откровенные» (1893) находим употребленное в переносном значении словосочетание *желторотый галчонок*: «Нынче, голубушка моя, фанаберия-то везде по боку, а ты, коли не желторотый галчонок, так пользуйся случаем!»

Существительное *паценок* также лежит в русле только что рассмотренных определений: приставка *па-* указывает, что данное лицо похоже на то, что названо мотивирующим словом. В литературном языке оно появилось из диалектов в XIX веке.

Существительное *салага* первоначально употреблялось в жаргоне солдат и моряков. В повести Ю. Полякова «Сто дней до приказа», опубликованной в 1987 году в журнале «Юность», приводится таблица, отражающая наименования солдат в зависимости от срока службы: 1—6 месяцев — *салага*, *сынок* (обязан во всем беспрекословно подчиняться старослужащим); 6—12 — *скворец*, *шнурок* (от *салаги* отличается только большим жизненным опытом и надеждой — на будущие права); 12—18 — *лимон* (руководит *салагами* и *скворцами*, подчиняется *старикам*); 18 — день приказа об увольнении — *старик* (подчиняется только командирам, но с чувством собственного достоинства); день приказа — отправка домой — *дед* — гражданский человек, по иронии судьбы одетый в военную форму.

Л. И. Скворцов связывает слово *салага* с *салака* «мелкая

рыбешка, мальки» (Скворцов Л. И. Литературный язык, просторечие и жаргон//Литературное просторечие. М., 1970).

В. М. Мокиенко указывает на то, что в севернорусских говорах для названия мелкой рыбешки самых разных видов (уклейки, ельца, салаки, белорыбицы, плотвы) используется лексема *салага*, и делает вывод о том, что переносное значение слова могло родиться в матросской среде Балтийского или Северного флота, где салага была хорошо известной реалией (Мокиенко В. М. Салага//Русская речь. 1979. № 1).

Впервые слово *салага* зафиксировано в «Словаре русского языка» со значением «молодой, неопытный матрос, а также солдат нового набора или учащийся первых курсов военного училища» (М., 1981—1984). В настоящее время в разговорной речи оно уже употребляется по отношению к любому молодому неопытному человеку, а не только к солдату или матросу: «Ты, Василий Сергеич, меня не учи, что мне делать. У них во время работы одни разговоры да хаханьки. Салаги, а огрызаются... Они могут больше дать, чем дают» (В. Леонович. На работе и дома).

Еще у двух языковых единиц *институтка*, *гимназист* наблюдается перенос «воспитанник учебного заведения» → «неопытный человек». Лексема *гимназист* в этом значении зафиксирована только в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова без каких-либо примеров (М., 1935—1940). Метафорическое образование *институтка*, как и многие из только что рассмотренных, появилось в XIX веке.

Перенос «незрелый, неспелый» → «неопытный» лежит в основе фразеологического сочетания *зеленый юнец*. Впервые такого рода перенос встречается в третьей редакции Хронографа по списку XVII века, где старец сравнивается со зрелой травой или колосьями, а юноша — с зеленой (Суровцева М. А. К истории выражения цветовых значений в древнерусском языке XI—XVI вв. М., 1967). В словари же переносное значение слова *зеленый* попало только в 1902 году (Словарь русского языка. СПб., Л., 1895—1937).

Если обобщить все виды переноса наименований в синонимическом ряду «неопытный, неискушенный, не умудренный жизнью человек», то можно увидеть, что в качестве образной основы всегда выступает наименование лица или животного, не достигшего зрелости, полного физического развития (*незрелый* «не достигший полного развития, зрелости, возмужалости» → *незрелый* «не полностью сложившийся, не достигший опытности, мастерства и т. п.»). Таким образом, если опытность связывается со старостью, то неопытность с молодостью.



СТРОКИ БИБЛЕЙСКОЙ МУДРОСТИ

Ю. А. ГВОЗДАРЕВ,
доктор филологических наук

Библия — удивительная книга (точнее — книги), величайшее явление мировой культуры, пережившая тысячелетия и не потерявшая своего значения. Библия — это не только «священное писание», знамя христианства, свод жизненных правил, «явление высшей духовной ценности», как сказал С. Булгаков, но и историческая летопись, выдающийся памятник литературы. Древнегреческий текст Библии был переведен на старославянский язык. Текст славянской Библии приводится в нашей статье в русском переводе. Библия — источник фразеологизмов во многих языках народов мира. В современном русском — их более двухсот.

Фразеологизмы, вышедшие из Библии, различны и по своему характеру, и по активности их употребления: одни из них встречаются часто — *ничтоже сумняшеся*, *камень преткновения* и т. д., другие — стали архаизмами — *аредовы веки*, *много званых*, *мало избранных*.

Различаются они и по характеру связи с библейскими текстами. Часть их не встречается в таком виде в Библии, но

опирается на ее сюжет, включает в свой состав библейские имена: *в costume Адама, в costume Евы*. Другие имеют сходные словесно выражения с текстом Библии, но там они употреблены с иными, прямыми значениями — *краеугольный камень, не от мира сего* и др. Наконец, есть выражения, употребленные ино-сказательно, уже как фразеологизмы: *соль земли, камни вопиют* и т. д.

Попробуем рассмотреть историю некоторых выражений, ведущих начало от Библии.

Аредовы веки. Выражения этого в тексте Библии нет, но оно связано с библейским персонажем Иаредом: «Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер» (Первая книга Моисеева. Бытие. 5, 20).

Таких «долгожителей» в Бытии упоминается несколько: Адам жил 930 лет, Каинан — 910, Мафусаил — 969. Станным покажется такое долгожительство. Но, может быть, разгадка в тексте книги Иезекииля, в словах Бога: «И Я определил тебе годы беззакония их числом дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева».

И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год Я определил тебе» (Книга Пророка Иезекииля. 4, 5—6).

В русском языке имя Иаред, содержащее в начале два гласных, преобразовалось в Аред (иногда говорят и *аридовы веки*), а выражение приобрело значение «очень долго».

Неопалимая купина. В Библии говорится о том, что Бог явился Моисею в виде ангела из горящего, но не сгорающего куста: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хориву».

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Вторая книга Моисеева. Исход. 3, 1—2).

Это выражение означает «нечто нерушимое, сохраняемое». Слово *купина* в старославянском означает «куст». Отсюда *неопалимая купина* — «несгораемый куст».

Внести свою лепту. Выражения *внести свою лепту* и *посильная лепта* в современном языке означают «скромный, посильный вклад».

В этих выражениях определяющим оказывается слово *лепта*, которое заимствовано старославянским языком из греческого, где обозначало мелкую монету. Но объяснение выражения дает только библейский текст, в котором речь идет о лепте вдовицы: бедная

женщина, вдова, решила сделать свой вклад в пожертвование для сокровищницы иерусалимского храма. В рассказе об этом ее вклад отмечается особо, противопоставляется вкладам богатых людей: «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.

Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.

Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу;

Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Евангелие от Марка. 12, 41—44). Этот же рассказ приводится и в Евангелии от Луки (21, 1—4).

Корень зла. Выражение это вполне понятно — «причина зла». Встречается оно в «Книге Иова». Многострадальный Иов рассказывает друзьям о своих бедах: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; <...>

Вам надлежало бы сказать: „зачем мы преследуем его?“ Как будто корень зла найден во мне» (19, 25—28).

Выражение *корень зла* имеет должное основание, поскольку слово *корень* означает также «начало, происхождение чего-то».

Краеугольный камень, камень преткновения. Многие выражения в Библии имеют подтекст. Так обстоит и с выражением *краеугольный камень*. Оно есть в тексте: «Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью, и с преисподнею сделали договор: когда всепрощающий бич будет проходить, он не дойдет до нас,— потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя“.

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Книга Пророка Исаии. 28, 15—16).

В современном русском языке это выражение употребляется в значении «основа, важнейшая часть, главная идея».

С этим же камнем на Сионе связано выражение *камень преткновения*. Его значение «препятствие, затруднение». Само слово *камень* стало символом надежности еще в Библии. Но одновременно оно означает препятствие (ср. *подводные камни*). *Камень преткновения* в Библии упоминается не раз: «Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш!

И будет Он освещением и камнем преткновения и скалою

соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.

И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» (Там же. 8, 13—15).

Не от мира сего. В Библии изложен разговор Иисуса с Понтием Пилатом. Пилат спрашивает Иисуса: «Ты царь Иудейский?»

Иисус отвечал ему: От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?

Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Евангелие от Иоанна. 18, 33—36).

Как и большинство текстов Библии, этот может толковаться различно. С одной стороны, Иисус говорит, что здесь его не чтут, ибо предали, но вместе с тем, он имеет в виду, нужно полагать, иное царство — «царство небесное».

Это выражение в современном русском языке означает человека, «отрешенного от реальной жизни, не приспособленного к жизни; мечтателя».

Довлеет дневи злоба его. Поскольку Библия сначала была переведена на старославянский язык, многие выражения так и закрепились в этой старой форме. К ним относится и это, непонятное современному человеку выражение. Но оно употребляется в нашей речи, хотя и не часто.

Довлеет — форма 3-го лица ед. числа глагола *довлети*, который в старославянском языке означал «быть достаточным». Слово *дневи* — падежная форма от *день* (*дьнь*). А *злоба* сохранило в этом выражении свое устаревшее значение «беда, неприятность».

По поводу этого выражения профессор А. Н. Попов указывал на неточность перевода евангельского текста: «Подлинный греческий текст в Евангелии „*Arketon téi hēmeraí kakía autés*“ был переведен на старославянский язык так: „Довлеет дневи злоба его“, то есть для данного дня достаточно своих неприятностей, трудностей забот. В каноническом русском тексте Евангелия это место переведено более точно <...>

Дело в том, что греческое *kakía* имеет чрезвычайно широкое значение <...> и в зависимости от контекста может обозначать различные понятия негативного характера: и негодность, и порочность, и неприятность, и неприязнь и т. п. Переводчики с греческого крайне неудачно воспользовались словом *злоба*, а любители щегольнуть цитатами на старославянском языке пустили

в оборот *злобу дня* скорее всего сначала в шутливом значении, а потом это выражение приобрело устойчивый характер с пересмыслением слова *злоба*» (Русская речь. 1969. № 3. С. 41).

Не сотвори себе кумира. В этом выражении главную роль играет слово *кумир*. В Библии оно означало изображение божества, идола: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Не поклоняйся им и не служи им...» (Вторая книга Моисеева. Исход. 20, 3—5).

В современном языке этот фразеологизм означает: «не поклоняйся слепо кому-, чему-либо, как идолу».

Геенна огненная. Выражение это или само слово *геенна* часто встречается в Библии, например: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый...» (Евангелие от Марка. 9, 43).

В современных толковых словарях выражение *геенна огненная* определяется как «ад». В Библии тоже имелся в виду ад.

Происходит слово *геенна* от древнееврейского названия местности «долина плача» близ Иерусалима. Сам этот факт довольно любопытен: с одной стороны, ад, а с другой — долина плача. Поясняет это Архимандрит Никифор в своей «Библейской энциклопедии»: «Геенна (с Евр. долина *Гинном*) — название глубокого и узкого оврага на южной стороне Иерусалима, в котором, при Ахазе, идолопоклонствующие иудеи сжигали своих детей в честь идола Молоха, при игре на музыкальных инструментах, с тем, чтобы заглушить их жалобные вопли. Царь Иосия, истребляя идолопоклонство, осквернил это место — в него стали выбрасывать городские нечистоты, кости человеческие, трупы казненных преступников и павших животных. Для уничтожения зловония и предохранения города от заразы, в этой долине постоянно горел огонь, и потому это место впоследствии называлось *геенною огненною*, и стало местом ужаса и отвращения для Израильтян. В позднейшее время этот овраг сделался символом вечного мучения» (М., 1891).

Так, фразеологизм *геенна огненная* стал иносказательным обозначением ада. Другое его значение: «символ нравственных и физических мучений».

Много званных, мало избранных. В Евангелии от Матфея это выражение повторяется дважды. В одной притче речь идет об оплате за работу на винограднике. Когда один из работников высказал недовольство, что ему заплатили столько же, сколько

работавшим меньше его, хозяин в ответ сказал: «Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе;

Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?

Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных» (20, 14—16).

Второй сюжет связан с притчей о брачном пире у царя. Иисус рассказывает, как были приглашены на пир гости, но они не пришли: «Тогда говорит он [царь] рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;

Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Когда царь увидел среди пришедших одного человека в плохой одежде, то рассердился и велел казнить его, сказав при этом: «связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов;

Ибо много званых, а мало избранных» (22, 8—9, 13—14).

Ростов-на-Дону

Односоставное или двусоставное? Полное или неполное?

О. М. ЧУПАШЕВА,
кандидат филологических наук

Кто из учеников не испытывал затруднений при разграничении предложений односоставных полных и двусоставных неполных? Дело в том, что не любое предложение, в котором словесно представлен только один главный член, является односоставным. В связи с этим покажем особенности тех и других, предложим алгоритм для разграничения их и проиллюстрируем его на конкретном материале.

Тип предложения по грамматическому составу определяется по количеству главных членов: Зима пришла — двусоставное, так как представлены два главных члена (подлежащее и сказуемое); Похолодало — односоставное, так как в предложении один главный член (здесь — сказуемое). Однако не каждое предложение с словесно представленным одним главным членом является односоставным. Например: — Он придет сегодня? — Придет — двусоставное неполное. Для того чтобы правильно определить тип предложения с словесно представленным одним главным членом, надо выяснить, может ли выступать его форма как главный член того или иного типа односоставного предложения.

Односоставные предложения различаются прежде всего по способу выражения главного члена, а также по своему значению. Не будем здесь перечислять эти способы: их можно найти в любом школьном учебнике. В наших примерах: *Похолодало* — личный глагол в безличном употреблении, может быть главным членом односоставного предложения; к тому же действие здесь мыслится без деятеля; следовательно, это безличное предложение. *Придет* — глагол в 3 лице, ед. ч., буд. вр. — эта форма не может быть главным членом односоставного предложения (в односоставных неопределенно-личных предложениях необходима форма мн. ч., к тому же деятель здесь вполне определен — *он*), значит, данное предложение двусоставное неполное.

Следовательно, ход рассуждений, или алгоритм, следующий:

1. Найди в предложении главные члены.
2. Определи их количество.
3. а) Если их два, то предложение двусоставное.
б) Если главный член один, то выясни способ его выражения.

4. Определи, может ли эта форма (3б) быть главным членом односоставного предложения.

5. а) Если нет, то предложение двусоставное неполное.

б) Если да, то обратиться к предыдущему контексту: нет ли там обозначения лица или действия.

6. а) Если нет, то предложение односоставное.

б) Если да, то предложение двусоставное неполное.

7. Определи тип односоставного предложения.

В качестве иллюстрации используем начало известного стихотворения К. И. Чуковского «Телефон».

У меня зазвонил телефон. Предложение двусоставное полное.

— Кто говорит? Предложение двусоставное полное.

— Слон. В предложении один главный член — подлежащее, оно выражено существительным в им. пад., эта форма может быть главным членом односоставного назывного предложения. Однако это предложение («Слон») является ответом на вопрос «Кто говорит?», а значит, занимает место элемента «кто», то есть подлежащего в двусоставном предложении, следовательно, анализируемое предложение — двусоставное неполное.

— Откуда? В предложении словесно представлено обстоятельство. Обстоятельство же входит в состав сказуемого, из предыдущего контекста — сказуемого «говорит» (ср.: Откуда говорит?). Форма «говорит» — 3 л., ед. ч., наст. вр. — не может быть главным членом односоставного предложения, значит, при ней есть место подлежащего; из предыдущего контекста определяем: *Откуда говорит слон?* А это двусоставное предложение. Отсюда делаем заключение, что предложение «Откуда?» — двусоставное неполное.

— От верблюда. Рассуждаем аналогично: предложение двусоставное неполное.

— Что вам надо? В предложении один главный член — сказуемое (*что* — форма вин. п.), выраженное, по школьной теории, наречием, которое может быть главным членом односоставного безличного предложения. Состояние здесь представлено без деятеля. Значит, анализируемое предложение односоставное безличное полное. Полное, несмотря на отсутствие подлежащего: в односоставных предложениях нет места для второго главного члена.

— Шоколада. В предложении словесно представлено дополнение. Дополнение входит в состав сказуемого, из предыдущего контекста выясняем — сказуемого «надо» (ср.: *Шоколада надо*). По аналогии с предыдущим случаем, устанавливаем, что предложение односоставное безличное, но в отличие от предыдущего — неполное, так как сказуемое в нем не представлено словесно.

Обратите внимание: односоставные предложения тоже могут быть неполными!

— Для кого? В предложении имеем дополнение. Оно входит в состав сказуемого, из предыдущего контекста устанавливаем: сказуемого «надо» (ср.: *Для кого надо шоколада?*). Анализируемое предложение односоставное безличное неполное.

— Для сына моего. По аналогии с предыдущим, предложение односоставное безличное неполное.

— А много ли прислать? В предложении один главный член, сказуемое, выраженное неопределенной формой глагола, следовательно, это односоставное безличное предложение, по школьной теории. Причем оно неполное, так как глагол «прислать» — переходный и требует обязательного распространения существительным в вин. пад. без предлога: прислать *что*? Также и слово с количественным значением «много» обязательно требует при себе существительного (здесь — *много шоколада*), а это существительное словесно не выражено.

— Да пудов этак пять или шесть. Это часть сложного предложения, главный член в ней словесно не выражен, надо его установить. Данное предложение представляет собой ответ на вопрос «Много ли прислать?», а выше выяснили, что это предложение односоставное безличное, следовательно, и анализируемое предложение односоставное безличное. Кроме того, оно неполное, полная структура будет такая: *Да пудов этак пять или шесть шоколада прислать*.

Больше ему не съесть. В предложении один главный член, сказуемое, выраженное неопределенной формой, следовательно, предложение односоставное безличное. Оно неполное, так как и переходный глагол «съесть», и слово «больше» требуют обязательного распространения существительным, здесь — существительным «шоколада».

Он у меня еще маленький! В предложении два главных члена — подлежащее и сказуемое, оно двусоставное, полное.

Следовательно, односоставные полные предложения отличаются от двусоставных неполных предложений с словесно выраженным одним главным членом формой выражения этого главного члена и способом обозначения лица или действия. Односоставные предложения также могут быть неполными, если в них словесно не выражен единственный главный член или обязательный второстепенный член.

Из жизни ОККАЗИОНАЛИЗМОВ

Б. В. КРИВЕНКО,
доктор филологических наук

История отдельных слов в том или ином языке бывает очень любопытной и нередко определяется олицетворяющей метафорой. Мы привычно читаем статьи и заметки о *судьбе* слова, о *биографии* слова, о *жизни* слова. Продолжим эту метафорическую цепочку и поговорим о словесных «бомжах», о словах, так сказать, без определенного места жительства, если под местом жительства слова понимать словари. Эти слова придумываются, изобретаются писателями, публицистами, журналистами, как правило, для однократного употребления и живут только в сиюминутном контексте.

Повернем метафору еще одной стороной. Данной группе слов явно не везет: в выпущенном в 1990-м году лингвистическом энциклопедическом словаре вы не найдете словарной статьи «окказионализм», «окказиональное слово» — именно так называют подобные индивидуально-авторские новообразования.

А между тем газетная речь наших дней отличается активным использованием окказиональных слов. И это понятно. Оказывается, можно придумать удивительное слово, которое вызывает цепь ассоциаций и заменяет многословное объяснение явления. Если внимательно прочитать газетные политико-экономические тексты последних лет, то можно составить длинный список таких нарочно придуманных слов, к тому же, как принято говорить в науке, созданных по одной продуктивной словообразовательной модели. В этом списке мы встретим и «бейрутизацию», и «кашпировизацию», и «сокуризацию нашего кино», и «финляндизацию», «эфэргэлизацию ГДР» и т. п.

Разумеется, окказионализм — не изобретение новейшего времени. Можно вспомнить пушкинские «огончарован», «кюхельбекерно»; «молоткастый, серпастый», «разулыбить» Маяковского. Изобретали окказионализмы и Чехов, и Достоевский, да и многие другие писатели. К тому же окказиональные слова были в поле зрения исследователей. Им посвящены и диссертации, и книги, и отдельные статьи. Это работы Н. И. Зайцевой, В. В. Елисеевой,

В. В. Лопатина, А. Г. Лыкова, Р. Ю. Намитоковой, А. Д. Юдиной и многих других авторов.

Нам бы хотелось обратить внимание на некоторые новые явления в создании окказиональных слов.

Как правило, до настоящего времени рассматривались преимущественно так называемые словообразовательные окказионализмы. Газетная практика показывает, что резервы окказионалистики еще не до конца освоены. Поэтому помимо общеизвестных случаев следует рассмотреть и некоторые нетипичные.

Вот первый. Распространены новообразования, исходным материалом которых были имена собственные — либо фамилии известных политических, общественных, культурных деятелей, либо названия городов, государств. Противоположное явление тоже встречается, особенно в поэтической речи, когда нарицательные существительные становятся именами собственными (см., например, работу Н. И. Зайцевой «Окказиональные имена собственные в современной поэтической речи» // Формирование семантики и структуры художественного текста. Куйбышев, 1984. С. 56—70). В публицистике же такой прием носит иной характер. Так, критик С. Лаврентьев пишет: «На экранах и сценах, эстрадах и книжных страницах правит бал *Порнография Контролирующая Русофобкер*» (Экран и сцена. 1990. 13 дек.).

Второй случай. Такое явление можно назвать семантическими окказионализмами (они описаны в литературе), имеющими яркую экспрессивность: «наездники» — граждане, наезжающие в столицу за продуктами; «колбасники» — выступающие с экономическими требованиями; «делители» — желающие все поделить и т. д.

Третий. Это явление свойственно только газетной речи, потому что связано с необычным использованием шрифтов. Таковы графические окказионализмы. Они могут встретиться и в заголовках, и в текстах газетных материалов: «Страна в нокДАУНе» (заголовок статьи о росте числа умеренно отстающих детей), «воСПИДатели», «поПУТЧики» и т. д.

Четвертый. Окказионализмы-бomжи, как правило, не связаны с местом рождения. Они могут появиться в любой газете, будь то столица или провинция. В этом смысле «грустиница» и «одуванчиконенавистник» практически не имеют различий. Так же обстоит дело и с «рынкофилами» и «рынкофобами». Но вот уже «собчакофилы» и «собчакофобы» — собственность определенного печатного органа, в данном случае с.-петербургской газеты «Час пик».

Издание всевозможных справочников и словарей, каким бы экстренным оно ни было, не поспевает за стремительным бегом

языка. Поэтому было бы целесообразно поставить на службу процессу фиксации не только окказионализмов, но и вообще новых слов компьютерную технику и включить в эту работу вузы, по крайней мере, те, где есть факультеты и отделения журналистики.

Наш небольшой опыт организации студенческих проблемных групп показывает перспективность такой работы. Составление банка данных по определенной программе могло бы сослужить хорошую службу практической лексикографии. Для иллюстрации приведем несколько примеров из собранной нами коллекции. Они могут быть использованы и составителями очередных выпусков «Новое в русской лексике»:

бесология

беспинкфлойдовский

бурангейт

люберализация («Грозит ли нам война между подростками?»)

маклериат

наушный сотрудник

минколд («Минздрав уходит, да здравствует минколд?», «Колдуны на марше»)

порнометражный фильм

секстремистка

толпотворение

АНТичная история (о кооперативе АНТ)

ДЕТский САД (о воровстве в детских садах)

заЛАТать («Бюджет будет заЛАТан», речь идет о Латвии и ее денежной единице)

коопЭРОТив

краеУГОЛЬНЫЙ камень (о шахтерских требованиях)

Воронеж



Ответы на лингвистические задачи

1. «Орфоэпический словарь русского языка» характеризует эту форму как неупотребительную (помета *неуп.*), но образовать ее (в случае необходимости) следует так: *тама́д*. Трудность образования связана с ударением. Существительное *тамада* имеет во всех падежных формах ударение на окончании: *тама́да*, *тама́ды*, *тама́де* ... мн. *тама́ды*, *тама́дам* ... кроме формы родительного множественного, в которой окончания нет, или, как принято называть, окончание нулевое. Поэтому ударение «приходится» передвинуть на слог левее: *тама́д*.

Есть слова, у которых эта «операция» проходит безболезненно; таковы, например, *похва́ла* (род. мн. *похва́л*), *кону́ра* (*кону́р*), *колея́* (*коле́й*), *чешу́я* (*чешу́й*), а среди существительных с односложными основами — *че́рта* (*че́рт*), *жнея́* (*жне́й*), *швея́* (*шве́й*). Но язык устроен прихотливо: у других существительных (и их немало) те же условия образования форм родительного множественного оказываются причиной неупотребительности этих форм. Словари указывают на неупотребительность родительного множественного от *мечта́* (т. е. формы *мечт*; кстати, последнее время на телевидении стали щеголять нарочитым употреблением этой «несуществующей» формы). Но для других существительных такие указания в толковых словарях отсутствуют, их дают только орфоэпический словарь и грамматический словарь А. А. Зализняка; таковы слова: *ага́*, *балда́*, *брюзга́*, *дуда́*, *кума́*, *мольба́*, *фата́*, *хула́*, *чета́* и др. Среди них и *тамада́*.

2. Увы, не справился. Собственные имена редко употребляются во множественном числе, но обратимся к нарицательным существительным похожего внешнего облика. Вот они: *бадья́*, *ладья́*, *попадья́*, *тулья́*, *статья́* и др. Формы родительного множественного от них: *баде́й*, *ладе́й*, *стате́й* и др. Значит, от *Илья́* будет... *Иле́й*. Эти формы образованы с нулевым окончанием и беглой гласной, на которой и оказывается ударение. В *ревы́чках*,

часто употребляемых формах мы все это легко «проделываем», но при необходимости образовать родительный множественного от имени *Илья* произошла заминка (и не у Саши Пчелкина, а у самого Валентина Катаева!).

3. Отчества редко употребляются во множественном числе, но мы легко образуем в случае необходимости любую форму множественного от мужского отчества: *Ивановичи, Ивановичей, Ивановичам...* От женского отчества без всякого труда образуются формы именительного, дательного, творительного и предложного падежей множественного числа: *Ивановны, Ивановнам...* Но родительный (и совпадающий с ним винительный), как показывают приведенные примеры, может вызвать затруднение. Призовем опять на помощь нарицательные существительные, среди которых есть несколько слов на *-вна*: *гривна, королевна, поповна, царевна, цесаревна* и совсем редкое слово *стиховна* (есть только в словаре Ушакова). Родительный множественного от этих существительных имеет беглую гласную *е* перед *н*: *гривен, королевен, поповен* и др. Вот по этому образцу и следует образовать родительный/винительный множественного от женских отчеств: *Кирилловен, Николаевен, Степановен, Филипповен, Ниловен, Алексевен*. Для вариантов без беглой гласной не находится аналогов среди форм нарицательных существительных.

4. Нет, неправильно. И это не удивительно: среди глаголов, у которых настоящее время устроено так, как у этих двух, лишь немногие имеют формы страдательных причастий настоящего времени и почти все эти формы малоупотребительны. А «устройство» это такое: эти глаголы относятся к первому спряжению, причем в первом лице единственного числа и третьем лице множественного перед окончаниями выступают твердые согласные (*беру — берут, зову — зовут*). В инфинитиве (неопределенной форме) глаголы с таким настоящим временем кончаются либо на *-ать* (*брать, врать, ждать, жрать, звать, лгать, рвать, ткать* и нек. др.), либо на *-сти, -сть, -зти, -зть, -чь* (*вести, класть, везти, грызть, печь, стричь* и др.).

Интересующие нас страдательные причастия образуются от основы первого лица единственного числа — третьего лица множественного числа при помощи суффикса *-ом-*. Самые употребительные формы — *ведомый, везомый, влекомый, несомый* (ср.: *веду — ведут, везу — везут, влеку — влекут, несу — несут*). Так что если уж решиться образовать такое причастие от *брать*, должно получиться *беромый*, от *звать* — *зовомый*. Последняя форма зафиксирована у нескольких авторов (в том числе у Гоголя); она приведена в словаре Ушакова с пометой *книжн.*

устар., а в орфографическом словаре — даже без всякой пометы (что вряд ли верно).

Величайшей редкостью являются такие причастия, образованные от других глаголов. Вот некоторые из них: *гнетомый* (у Гнедича), *грызомый* (у Пушкина), *пасомый* (у Солженицына), *жгомый* (у Цветаевой).

5. У глаголов типа *беречь, печь* (первое лицо настоящего времени — *берегу, пеку*) нет свободно употребляющихся форм деепричастий. Образовать их можно или с чередованием (*г — ж, к — ч*), т. е. *бережа, печа*, или без чередования: *берегя, пекая*. Формы с чередованием не получили устойчивого «права гражданства» в литературном языке, что же касается форм типа *берегя*, то они неприемлемы с точки зрения фонетических норм русского языка: сочетания *кя, гя, хя* русским словам несвойственны, они яркий признак заимствований из восточных языков (*кяманча, кяриз, гяур*). Так что справедливо характеризовать такие формы деепричастий в словарях и грамматиках как употребительные, а у персонажа из фельетона были все основания объявить слово «дурацким».

В то же время в индивидуальном употреблении, у отдельных авторов такие деепричастия встречаются. При этом зафиксированы только формы с чередованием. Например, у Л. Толстого, Цветаевой, Солженицына отмечена форма *бережа*, у Маяковского — *толча*, у Солженицына — *печась* и *стережа*, у Цветаевой — так же: *печась ч жжя* (именно в таком написании — с *я* после *ж*!).